



АСКАД МУХТАР

ПЕРЕВОД
С УЗБЕКСКОГО
А. НАУМОВА

МОЛНИЯ НАД ОБРЫВОМ

ВСТУПЛЕНИЕ

С годами память словно бы отцеживает пережитое. Чем дальше, тем она отбирает все жестче, но то, что сохраняется в ней, особенно люди из нашего детства, становится лишь крупнее; сущность их выявляется все отчетливей, так что, будь время и силы, о каждой из этих человеческих фигур можно бы написать отдельную книгу.

Я вырос в детском доме номер один в Фергане. Любому из моих сверстников-детдомовцев досталась нелегкая и необычная доля; и облик каждого взрослого, приласкавшего сироту, врезался в душу. Но одного из таких людей, его удивительные рассказы о себе, я вспоминаю особенно часто. Эти воспоминания я и хочу пересказать теперь.

Было ему, я думаю, лет пятьдесят пять — пятьдесят шесть: возраст, с мальчишечьей точки зрения, более чем почтенный. Но странно, он вовсе не казался нам стариком — просто, как мы думали, был он не очень молод. Может быть, потому что брил голову наголо и перепоясывался широким ремнем, предметом нашего восхищения. Или — не знаю почему. Звали мы его «Ахмедов-ака». Это был невысокий, невзрачный человек с низкой переносицей и обвислыми мясистыми ушами; носил старую гимнастерку, на поношенную тюбетейку наматывал, как чалму, поясной платок. Словом, ничего в его внешности не было особенного, но все мы, сироты, с малолетства ходившие по чужим дворам, только благодаря ему оседали в детском доме и терпеливо сносили холод и голод. Он отдавал нам душу.

Если нам доставалось вкусное блюдо, он с радостью глядел, как мы яростно двигаем челюстями; если что-нибудь вызывало на лица наших улыбку — он и сам расцветал. Он жаждал, чтобы мы все время хоть чему-нибудь радовались: новой одежонке, вкусной еде, заново придуманной игре, заинтересовавшей работе.

Ахмедов-ака не был воспитателем; будь он воспитателем, возможно, показалось бы слегка неуместным рассказывать о его внимании и любви к детям. Нет, он был простым завхозом, но свой хоровод вокруг него мы водили с такой неизменностью, что иные воспитатели ему явно завидовали. Нас это, однако, не заботило; мы прятались в его тени, глядели ему в рот.

— Дети — удивительные... — печальным тоном говорил иногда Ахмедов-ака кому-нибудь из взрослых. — Мы теперь уж не можем быть такими честными... такими сильными в чувствах. Не можем, и стараться нечего. Хватит, если отдаем им остаток дней. Лично у меня больших планов нет, что осталось от жизни — это им, и благодаря им...

1. УЧИТЕЛЬ-НОГАЕЦ

Месяц сунбула еще не наступил, но утренние лучи уже ласковы и приятны. Рассвет, тишина, в большом дворе пусто, только в сарае, где хранится солома, негромко хрумкает ожеребившаяся вчера лошадь.

Мамат, пришедший с гор за одеждой для пастухов, сидел на солнышке, прислонясь спиной к почерневшей стенке тандыра. На кизяках жужжали мухи, посреди двора валялся чугунный кувшин, на берегу водоема торчала короткая шерстка травы, корячился старый искалеченный тал; Мамат размышлял, глядя на все это, и ждал приказа хозяина, совершавшего в комнате намаз.

Ворота, что отделяли двор от улицы, со скрипом приотворились, и вошел учитель-ногаец. Мамат еще весной его видел, и теперь он был так же тощ и убог, в дырах штанин видны колени, на плечах переметная сума да мешок с хлебом, в одной руке — ящик, в другой — сверток, к поясу приторочен заколотый цыпленок. Башмаки латаные-перелатаные, клочковатая борода отросла, но глаза — как сливы.

Едва он вошел, один из мешков развязался; учитель никак не мог с ним управиться, с грузом-то на плечах:

одно берет под мышку — другое падает, другое завяжет — третье развалится... Замучившись, он огляделся и увидел Мамата.

— Эй, курносый, помоги же!..

Мамат выпростал колени из-под мешковины, что была на нем вместо рубашки, и, криво ступая чарыками, направился к учителю. Ногаец открыл где-то приют — открыть-то открыл, но пришел голод, власти не могли прокормить ребят; теперь он и другие учителя ходят по кишлакам, во дворах побогаче выпрашивая, что придется, — собирают сиротскую долю... Мамат приподнял сползавшую с плеча учителя переметную суму и поддел пеньковую веревку, которая связывала четыре угла тяжкого мешка. От маленького тела учителя пахло потом, кожей, сюзьмой, заплесневелыми сухарями. Повернув тонкую шею с выступающим кадыком, ногаец сказал, задыхаясь: «Молодец...» Мамат вернулся назад, сел на приступок айвана, спустил ноги.

Из мехмонхоны вышел хозяин в накинутах на плечи почернелом суконном чекмене. Был он хмур — младшая жена, которую он ласково звал Бегим, умерла недавно в родах, и теперь он старался избегать людей. Старшая жена, рано постаревшая и почти ослепшая, жила со служанкой где-то в глубине дома, он к ней и не заходил. Мамат знал это — как и все, что делалось в доме. Знал и то, что правители волости оставили хозяина в одиночестве: при подношении подарка какому-то сановнику бай не внес своей доли... Вот и ведет теперь праведную жизнь, как отшельник, и бессонницей страдает. А все его помыслы — о двух отбившихся от рук сыновьях: один ушел с красными, другой — с белыми. Людей-то он сторонится, но едва стукнет калитка — набрасывает чекмень и выходит в надежде услышать какие-нибудь новости о пропащих.

— А, добро пожаловать, учитель... — сказал он. — Долю сиротскую собираете?

Только теперь учитель сложил свой груз на землю.

— Ох, — сказал он, — пуста округа, изобилие кончилось, да и честь у баев пропала... — На его освободившихся плечах видна была сквозь прорехи рубахи стертая до крови кожа.

— Сколько ж у вас там ребят?

— Сейчас триста девять, таксыр.

— Э-э-э... разве им хватит того, что у вас в мешках?

— Ну, хоть раз поедят...— Учитель сглотнул слюну, видно, и сам не ел уже бог весть сколько времени.

— Все мусульмане?

— Да-а... узбеки... киргизы...— Учитель даже подрагивал от усталости.

— Замучили вы себя,— сказал бай.— И зачем собирали такую голодную ораву?

— Э, бай-ота... увидели бы вы их хоть раз! В тот год черный мор, знаете сами, как людей косил... Сколько сирот... сил нет глядеть...

Это Мамат помнил. Ураза пришлось как раз на самую жару, на саратан; сперва унесло стариков. День пылал, и трудно было понять, от чего человек умер — от мора или жажды. Над кишлаком стоял вой. И сильных, и слабых — всех косило одинаково. Разве отец Мамата похож был на обреченного?.. Силач, с семифунтовым кетменем на плечах ходил на поденщину, зимой таскал кирпичи на кирпичном заводе... Мать вопила над усопшим день и ночь — и сама испустила дух там, где сидела. Хоть и вопреки шарияту, но положили обоих в одну могилу. Что ж было делать: один из могильщиков умер, другой сбежал... Кишлак опустел меньше чем за месяц. Одного Мамат не мог вспомнить: кто увел его оттуда за руку... С той поры он и знал только этого вот хозяина. Вместе с поденщиками, корчевавшими на земле бая пни, поел он кукурузной похлебки и остался здесь насовсем. Бай-ота хоть и был из тех, что не носят рубах из простой бязи и много чего накопили в сундуках, Мамата, однако, кормил не объедками: кто, мол, притесняет сироту, не заслужит хорошей жизни... Пригрел он мальчика, и Мамат, с шести лет пасший здесь коров, трудился без устали. А сейчас ему вспомнился смутно его первый день здесь, и жалость к тощему, дрожащему всем телом учителю переполнила его.

Бай-ота вынес таз проса и высыпал учителю в мешок. У того тряслись руки.

— Приют-то ваш где?— спросил бай.

— В Симе, таксыр, в самом Симе...

Бай-ота покачал головой и, полуприкрыв глаза, глянул на Мамата. Мамат понял: «Далеко-о...»— и с готовностью нырнул в дом, вынес на подносе чай и лепешку. Учитель присел на краешек стула, выпил чаю, нерешительно повертел в руках лепешку, должно быть, жалел ломать... проглотил слюну и сунул лепешку

в мешок с хлебом. Потом Мамат помог ему снова нагрузить все, продел под мышки пахучие ремни. Эти переметные сумы были слишком знакомы Мамату — их, полных собранными по дворам кусками сухого хлеба и пшеничной каши, подпаски подчас неделями не снимали с плеч.

— А эти, ваши... все маленькие?— спросил он учителя.

— Все курносые, как ты...— На сразу вспотевшем лице учителя появилось подобие улыбки.

— Я тоже сирота,— сказал Мамат, как бы успокаивая.— Скот пасу...

Болезненная гримаса улыбки на лице учителя стала отчетливее.

— Твой бай-ота честь сохранил,— сказал он.— Уж не теряй тепленькое местечко, около скота не помрешь...

У Мамата отчего-то запершило в горле. Он поспешно сунул руку за пазуху, пошарил, вытащил общипанную с краев лепешку, приготовленную в дорогу, и протянул учителю. Тот какие-то мгновения глядел, словно раздумывая — брать или нет, потом быстро схватил, сунул опять-таки в мешок с хлебом. И тут же, отвернув лицо, пошел со двора. В клочковатых волосках на лице его что-то блеснуло — слеза, что ли?..

Бай-ота и Мамат-подпасок сквозь незапахнутую калитку глядели ему вслед. Он шел и покачивался, как старый больной верблюд.

2. АЛИМ И ХАЛИМ

Мамат сочувствовал хозяину. Вот учитель ушел, следом и Мамат отправится... Подпасок сложил в свою переметную суму кукурузные лепешки, мешочек с солью, иголку и нитки для стежки ватного одеяла; чарыки и чекмень подвязал кусками веревки. Заждались его в горах!.. Он уйдет, а бай останется один на один со своей горькой думой о сыновьях. «Салим-скотник», как его называли, что еще недавно мог всех в округе поставить навтытяжку, сегодня не имел и единого собеседника, чтоб отвести душу. На старую жену в ичкари тошно было и глянуть: слепая-то слепая, а до сих пор подкрашивала усмой родимое пятно на щеке, схожее с навозной мухой...

— Бай-ота, какие будут поручения?— сказал Мамат, тем самым спрашивая позволения отправиться в путь.

Бай, в своем черном казахском чекмене и побитой молю шапке из сура, мрачный, как дождевая туча, сидел на сури.

— Слушай, Маматкул, может, пойдешь после пятницы?..— В голосе бая подспудно звучали почти просительные нотки.— Подмел бы, водой полил... и дом, и двор. В подворотне полно дорожных мух, а ведь, может, кто и зайдет...

Живая душа надеется. Сидит и думает: авось да взглянет кто и принесет весть о сыновьях. Нет, он и впрямь не из тех кровососов, что изо всего и всех выжимают все новые толики богатства. Если и старается — так для детей.

И вот поход на пастбище снова откладывается... И босые бедняги в горах, дрожа от холода, будут клясть Мамата на чем свет стоит!

Сам-то Мамат не может стоять без дела ни секунды, и руки-ноги, и мысли у него — в непрерывном движении. Дом он подмел — так чисто, что с пола можно слизнуть упавший кусочек масла. И двор тоже, и дорожку, ведущую в хлев, и подворотню. Потом сел на веревочный гамак и, грызя морковь, стал плести тростниковую корзинку. Плетению научил его Халим, старший из байских сыновей. Халиму, кажется, и девятнадцати не исполнилось, но все-то он знает, приказывает только раз и неизменно добивается своего. Рука у него твердая! «Учись!— говорил он Мамату, показывая, как плести.— Это ремесло как раз для таких бездельников, как ты!» Стоило Мамату ошибиться, Халим брал вымоченную в воде тростину и бил мальчика по пальцам; а если корзина получалась все же кривоватая, растапывал ее сапогами: «Вот так, вот так, вот так!»

Халим был страстным любителем коней и улака¹, ему принадлежала конюшня в Кушкургане, навесы для лошадей, где он укрывал от чужих глаз могучих, с широкими крупами карабаиров. Стоило пронестись вести об улаке — никто и ничто не могло удержать Халима в кишлаке. Он обожал славу, любил прислушиваться к встречавшим его шепоткам: «А байбача-то... приз получил...»— и отчаянно завидовал баям в обширных

¹ У л а к, или к о з л о д р а н и е — древняя народная игра, конноспортивное состязание, в ходе которого участники вырывают друг у друга тушу козла, барана или теленка.

шубах, что сидели, как на троне, на квадратной супе и раздавали призы. Мечтал выращивать коней для улака и торговать ими... Утешеньем в зависти служил ему замечательный, красивый, легкий, словно олень, скакун. Оседлав его, он будто сам садился на трон! Зажимал в зубах камчу и носился по округе как ветер... Но однажды он приехал с пятизарядной винтовкой за плечами, с пулеметной лентой через плечо, соскочил с коня и больше не промолвил об улаке ни слова. Помрачнел, стал неразговорчив, иной раз привяжет любимого коня — и давай хлестать!.. Или к отцу привяжется — да так грубо:

— Вы знаете, что это все — уже не наше?..

— Что не наше, сынок?

— Да все!.. Все это богатство... имущество... надежды наши, наша жизнь!

— Как же так, сынок?

— Не знаете, значит... Что у таких баев, как вы, с душкой, все отбирают, а самих — в ссылку?..

— Кое о чем слышал... а что делать?

— Падать!— орал Халим.— Падать, как скот на бойне!

Однажды он сел на скакуна и исчез. Вскоре дошел слух, что Халим — в басмаческой банде.

Брат его Алим, должно быть, ни о чем этом и слухом не слыхивал: он уже давно уехал на учебу в Джелалабад. Сперва все ходил в соседний кишлак, к снимавшему там угол учителю; тот, видно, и сбил его с пути. Из города, от дядьев, он присылал письма, в которых мало что можно было понять: то я эбы уже поступил учиться, то снова собирается поступать... Алим был парень грамотный, начитанный, но выглядел вовсе не как большинство недоростков из медресе: крепкий, выше брата ростом и на вид куда старше своих семнадцати. Когда Халим скрылся из дому, бай стал вдвойне беспокоиться о младшем. Сплоховал, говорил он, надо было обоих женить, наделить имуществом — «на цепь посадить». И тут пришло от Алима новое письмо, да такое — хоть стой, хоть падай: записался в Красную гвардию!.. Показывает судьба фокусы: одного же отца дети...

У бая ни к белым, ни к красным душа не лежит, он только за сыновей болеет, а что делать — не знает: хоть пополам разорвись!.. И вроде не стало ему дела до хозяйства, только Коран читает да поминает покойницу,

младшую жену. Но вдруг найдет на него — продаст оптом косяк отборных коней из табуна!.. Конюхи разбежались; под навесом остались только скакун для улака да лошадка для арбы. В хлеву была пара быков, так они ранней весной околели на скотном дворе — не нашлось человека, чтоб зарезать их живьем!.. Теперь и три загона в горах тоже в опасности: как бы хозяин не надумал продать овец да сунуть денежки в сундук...

В один из таких смутных дней закудахтала за навесом пепельная курица. Там, в конце усадьбы, широкий хлев, рядом курган, обнесенный стеной, а дальше — глухие холмы... Кто бы мог прийти с той стороны?

Оказалось — Халим. В длинном халате, с двойным поясным платком, под халатом патронташ в два ряда, у пояса кинжал с ручкой слоновой кости... басмач и басмач. Задыхаясь, он обнялся с отцом, потом огляделся по сторонам.

— Пришел?

— Кто?

— Алим! Кто...

— Н-нету...

— Где он?!..

Бай растерялся, испугался. Вот тебе и радость — сын прибыл!

— Н-не зна-аю... — пробормотал он.

— Как не знаете?! Почему не знаете?! — Халим орал, лицо у него было красное.

Мамат подумал: он сейчас и не видит, кто перед ним, — отец, не отец — ему Алимджан нужен! Даже не спросил про мать, не выпил горячего чая, хоть из приличия...

— Если вернется — свяжите и запирайте в кладовке, приду и сам порешу! Коли выпустите — не увидите больше и моей тени!

И, даже не попрощавшись, поспешно вышел. Послышался топот коня, и за курганом поднялся столб пыли, словно дым из хумдана.

Бай совсем раскис, как перестоявшее тесто.

Весна наступила, ожил и забеспокоился дехканин, а тут даже палисадник не вскопан, все поросло бурьяном. Однажды, когда тополя сбросили сережки и в арыках потекла мутная вода, снова в усадьбе застучали копыта. Бай в надежде и страхе увидеть сыновей выбежал на порог — и встретил незнакомцев. Трое на

конях, все молодые красивые джигиты в новых бекасах, свежих бобровых шапках... Похоже, соратники Халима. Бай пригласил их в дом, а Мамат по его знаку быстренько вынес поднос с едой. Но они к еде и не приотронулись.

— Откуда вы, джигиты почтенные?

— Коня нужны, бай-ота! За конями приехали!— Это ответил самый красивый из троих, с богато вылепленными бровями и в пышных усах.

— А-а, кони... Коней у нас нет, джигиты...

— Не-ет?— Усатый с усмешкой поглядел на спутников.— Если у вас нет, у кого ж есть? Или... или, может, все Красной гвардии отдали? А?..

Второй, рядом, тоже скривился в усмешке:

— И не удивительно — сына не пожалел для красных, разве коней пожалеет!

У бая, видно, горло перехватило.

— Мой... мой сын...

Усатый яростно хлестнул камчой по голенищам своих сапог.

— Да знаем мы вашего сына!

Мамат поглядел на него, и ему показалось, что это уже не тот красавец, что увиделся сначала: глаза его налились кровью, лицо исказилось.

Бай попытался снова что-то сказать:

— Мой... мой старший сын...

— Ваш старший нам и велел — выводите коней!

При этих словах в бае словно бы что-то отмякло:

— Поверьте, джигиты, коней давно... давно продали...

Но тут усатый моргнул третьему, худощавому, с простым лицом. Этот соскочил с коня, прошел на задний двор и несколько мгновений спустя вывел обоих оставленных на черный день карабаиров. Он вел их, лаская, как своих.

— Все?!

— Все. Однако...— сказал худощавый и поцеловал скакуна по-пастушески в блестящий круп.

— Эй, бай!— издевательски сказал усатый.— Что ж вы так нос повесили из-за двух коней? Мы ж вас от большевиков защищаем!

Он махнул рукой, его спутники привязали карабаиров к лукам своих седел, и все умчались. Бай, казалось, утратил дар речи. Только когда пыль рассеялась, его вдруг прорвало:

— Нечестивцы... нечестивцы! Берите, подавитесь! Не зря вас... не зря вас зовут басмачами! Всех давите!..

Мамат прятался у ворот, на глаза его навернулись слезы: то ли коней жалко, то ли бая... Он и сейчас, сплетая вымоченные тростинки, невольно вытер глаза рукавом.

3. СНОВА КОНСКИЙ ТОПОТ

Ни на что не похожа краса горных пастбищ! Над тобою неохватное взором небо, и вокруг тоже — неоглядный простор с дымчатыми закраинами дальних вершин, а в тебе самом — воля без конца и без края; только тебе подчинен целый загон скота... Хочешь — беги до границ света, хочешь — валяйся весь день, гляди ввысь да пой свое «куррей-куррей», а вечером, когда потемневший купол расцветится бесчисленными узорами звезд, веселись с пастухами и подпасками, жуй хлеб с сюзьмой, пей заваренный из кожицы джиды ароматнейший чай с легким запахом дыма или под тихое пение черного кумгана на огне сиди у костра, раздумывая о чем-то неясно-прекрасном, а когда наконец сморит сон, явятся тебе тонкостанные девушки в нежных одеждах...

Пятнадцать дней привольно жил Мамат на пастбище. Но пастухи, чуть что, именно его посылают к хозяину — знают: бай ему ни в чем не откажет. «Езжай, привези ваты!.. Съезди, попроси две кошмы...» Мамат не отнекивается, он легок на подъем. И хотя с виду он совсем неказистый — мало того что курносый, так еще и рябой, толстые губы на плоском лице, сам тощий, — все, от бая до батрака, остро чувствуют и присутствие его и отсутствие.

И на этот раз послали его в кишлак с порученьем, а он опять оказался очевидцем скандала. К кольям за курганом привязано было десятка полтора коней, там и сям раскиданы седла: ржанье, перекрикиванья, всадники подъезжают, уезжают. И в доме и во дворе полно народу, стоят группами; в мехмонхоне кто-то зажигает фитиль, надевает стекло лампы, и при свете становится видно другого, что втягивает дым из чилима. Двор захвачен чужими, и они распоряжаются здесь как дома. Может, приехал Халим с друзьями? Но его не видно и бая тоже.

Сильно обеспокоенный Мамат не решился пойти в дом, да и убраться ни с чем восвояси счел неудобным; оглядевшись, он по столбу навеса полез на крышу. Там, под прикрытием прошлогоднего сена, прошел к крыше хлева, перебрался на крышу «людской» и улегся на чердаке. Он даже похвалил себя за то, что так здорово придумал: здесь, в пространстве меж крышей и дряхлым потолком, место было на редкость удобное, и весь разговор «гостей» слышен, и видно всех, кто входит и выходит, а тебя, если быть поосторожнее, никто вовек не заметит.

Потолок обширной комнаты, где ночевали раньше батраки, был дырявый, а некоторые места меж полукруглыми закопченными балками и вовсе ничем не крыты. В последний год в «людской» держали молодой клевер для новорожденных телят и ягнят да прятали от снега и дождя большие деревянные кровати. Они и теперь завалены ароматным сеном. На сене восседает безбородый мужчина, он с шумом тянет чилим да изредка отдает пронзительные приказания входящим и выходящим. Должно быть, во дворе закололи и жарят барана — аромат подсушенного клевера резко перебивается волнующим запахом жареного сала. А из мехмонхоны, что сообщается с «людской» дверью, доносится приятный и почти не умолкающий мужской голос. Правда, говорящий то и дело прочищает горло, как бы давая себе передышку или набираясь сил.

— Смирись с судьбой, бай-ота...

Ого! Бай-ота! Значит, бай здесь, в мехмонхоне!

Мамат наострил уши. Должно быть, сидит на пороге, или нет, скорей в каком-нибудь углу, посеревший, невзрачный, со склоненной головой, как все последнее время. А приятный голос его увещевает, обступает со всех сторон...

— Смирись с судьбой, это не мы сделали, чтобы люди жили друг с другом как кошка с собакой... Это они сделали, ихние вожди. Вот ваш меньшой сын — он теперь всюду без конца твердит «изм-пизм», а потом будет убивать людей или сам погибнет...

Отсюда, сверху, голос представлялся Мамату округлым и мягким, как ватный мяч, который безжалостно загоняет бая в угол. Вдруг ровное течение приятного голоса прервал другой, грубый, чавкающий — видно, его хозяин уплетал мясо. «Что за чушь!» — бур-

кнул грубый голос. Бай никак не отзывался. Приятный голос снова откашлялся и продолжил:

— Мы шагаем по крови, а за кого? Да, за кого? За вас, бай! За землю нашу, за веру, за нашу честь! А вы жалуете даже пару приятных слов...

Тут только вступил голос бая — тусклый и отчаявшийся:

— У меня ничего не осталось, мусульмане...

— Прячете, чуждаетесь...

— Но вы же видите...

— Мы видим! — вдруг заорал грубый, перестав чавкать. — Мы ви-идим! Ну-ка, поклянитесь, что, кроме этих денег, у вас ничего нет, — тогда и поверим! Что за чушь!..

И что-то упало на ковер. Коран, должно быть, баю кинули. Что же там делается?.. Мамат даже дышать перестал, вслушиваясь. Тишина давила. Потом что-то стукнуло, стук повторился — глухой такой: тук-тук, тук-тук... Где это — во дворе или снаружи?

— Э! — сказал вдруг приятный голос. — А не замурована ли здесь ниша? — И снова «тук-тук, тук-тук», только звук уж совсем тупой. Оказывается, это в мехмонхоне стучат.

Чилим клокотал точно под тем местом, где лежал Мамат. Потом в соседней комнате что-то обвалилось, посыпалось, слышно было, как люди вскочили на ноги, и следом отворились обе створки двери из мехмонхоны в «людскую», оттуда со звонким смехом вышел рослый сухощавый молодой человек. Видно, тот, с приятным голосом. На голове белая баранья шапка, усы, в руках небольшая, присыпанная пылью полукруглая шкатулка с черной инкрустированной крышкой. Да это же «дуржи-бекунж», догадался Мамат: та самая шкатулка, о которой рассказал ему как-то вечером байский конюх. Никто не ведал, что бай в ней держит, где прячет. Знали только: захлопнется крышка, никому, кроме хозяина, ее уже не открыть.

Человек со шкатулкой присел на край сури, все к нему нагнулись — и безбородый с чилимом, и коротконогий толстошей пузан, который вошел чавкая, так что Мамат сразу признал в нем обладателя грубого голоса, и другие; кто-то поднес воняющий факел, но молодой курбаши только ткнул под крышку кончиком ножа с таким видом, словно занимался этим ежедневно, — и крышка со звоном откинулась. Все разом замолкли,

даже дышать перестали: шкатулка была полна золота, алмазов, драгоценных самоцветов!

— Что за чушь!— сказал наконец грубый пузан. Его бессмысленная реплика ко всему подходила!

Молодой держал шкатулку обеими руками, как касу с лагманом; пузан сунул туда волосатые пальцы, вытащил коралловое украшение и уставился на него.

— Вот это насобирали, скупердяй!

— А еще говорил: ничего нету!— крикнули сбоку.— Клятвопреступник!— И они принялись поносить хозяйна, словно самого его и близко не было.

Тут-то Мамат и увидел бая. Бледный, обвисший, будто из него выпустили воздух, он вошел и прямо у двери опустился на колени.

— Уважаемые! Поимейте совесть, все это я собирал в поте лица... это честно заработано... надеялся построить... новый дом... поженить сыновей!

В ответ на последние слова грянул хохот, от которого затряслась вся «людская», но бай словно не слышал.

— Братец, милый....— говорил он в отчаянии, подползая на коленях и протягивая руки к молодому курбаши.— Вы ж ровесник моему сыну... пусть всевышний дарует вам долголетье! Не разоряйте меня, старика... не берите грех на душу... Приготовлю угощение, гуляйте хоть до утра.

Они все снова захохотали, но едва курбаши открыл рот, замолкли.

— Угощение?— переспросил тот.— Угощение — это хорошо. Буза есть?

— Есть! Есть...— торопливо сказал бай и с надеждой поднялся на ноги.— У Шади-бузачи всегда есть... тут, на углу. Я сейчас...

— Не надо, мы сами разыщем!

Бай замер. Курбаши сделал знак пузану:

— Э-гей... бери моего коня, лети к беку и скажи: все вышло, как он сказал, придут, мол, к завтраму!

— Что за чушь! — рявкнул пузан, играя плеткой.

— Скачи... коня не жалеи!

Пузан еще раз жадно глянул на богатство, вываленное из шкатулки на платок, и выскочил из «людской».

Курбаши, не трогаясь с места, горстями сложил драгоценности обратно в шкатулку: золотые кольца, сережки с подвесками, браслеты с изображениями бараньей головы, ожерелья, броши, золотые кругляшки

монет; сверху положил кораллы, закрыл крышку — она слабо щелкнула. Курбаши поднял шкатулку, подержал ее в руках, словно взвешивая, снова опустил на сури. Напряженное лицо его помягчело, прояснилось: видно, тяжесть шкатулки его ублаготворила.

— Джигиты! — сказал он громко. — Сегодня ночуем здесь. Пировать будем, бузу пить...

Все в комнате как-то и обрадованно и несыто загудели, заворчали. Курбаши поднялся, поставив шкатулку на сури, взял бая под руку и втокнул в мехмонхону, захлопнул за ним двери, повесил невесть откуда взявшийся замок, и снова потек его приятный голос:

— Только до утра, не посчитайте за обиду, бай-ота, сами понимаете, иначе не заснем спокойно. А сыновья ваши... не убивайтесь вы о них, хе-хе... скоро они зарежут друг друга и избавят вас от волнений! Вот так! Не горюйте...

Старое помещение для батраков было ветхим, но оказалось весьма кстати для ночной попойки. Над дверьми и еще на двух столбах, чадя, горели факелы; широкие деревянные кровати устланы клевером, у очага посередине — большой почерневший кувшин, глиняные касы, два чилима... Чуть погодя принесли бузу в кожаном мешке, холодное вареное мясо, завернутое в скатерть, лепешки. Джигитов было человек десять; они составили в углу пирамидку из винтовок, кое-кто сбегал на коней поглядеть, потом все расселись — кто на кроватях, кто у стены, просто на снопах клевера — и принялись тянуть бузу. Просторная комната о семи балках заполнялась дымом — от факелов, очага, чилимов. Компания быстро пьянела — от бузы или от сознания свалившейся на них удачи?..

Мамата, лежавшего наверху, дым и вонь доводили до одурения, но он больше всего боялся, как бы в сено не завалился горящий уголек. Эти пьяницы схватят свои пятзарядки и давай бог ноги, а бедный бай, посаженный под замок, сгорит заживо! Да и Мамату несдобровать — ведь придется поневоле себя обнаружить... Но он-то уж как-нибудь, а тому несчастному и теперь небось кажется, что он в темной могиле, как бы и впрямь до утра чего-нибудь над собой не натворил...

4. ПРОКЛЯТЫЙ ЯЩИК

Хорошо, что они так шумели в «людской». Зато, когда опростали кожаный мешок, когда один свалился набок, другой стал зевать и потягиваться, третий осоловело прислонился к стене, и разговор начал сходиться на нет, положение Мамата осложнилось: сено колется, а пошевелиться нельзя, лежи как истукан... К черту любопытство, надо было спускаться и бежать, пока шум стоял!..

Дальше — хуже. Все утихло, только иногда слышался храп да шорох сена. Огонь в очаге почти затухло золой, факелы тоже потухли. Глаза Мамата не отрывались от щели в потолке. Как раз под ним, на сури, лежал курбаши; прежде, в общей суете, Мамат и не заметил, как тот сунул шкатулку себе в изголовье, но теперь, когда все смолкли, курбаши снова вытащил шкатулку, завернул в свой чекмень и положил рядом, в высокую нишу, прикрыв сверху обильным сеном, потом подпер палкой дверь, сунул под бок кинжал — и лег. Заснул ли?.. Кто его знает. Вроде пил не так уж много, да и нелегко небось уснуть рядом с такими сокровищами. Лежал он, по крайней мере, неподвижно. Наступила тишина, душная и давящая. У Мамата затекло все тело, то тут, то там ныло и чесалось, но он боялся дышать, не то чтобы пошевелиться. Еще хорошо, что на нем мешковина!.. Сон стал подкрадываться, клеить веки, да ведь не приведи господи заснуть, захрапишь или чихнешь — конец, стащат за ноги и как пить дать повесят — тут же ящик, полный золота!

Мамат затаился, а чтобы облегчить себе неподвижность, позволил на мгновение закрыться векам... и задремал! Впрочем, как ему показалось, он тотчас и пробудился. Который час, он не знал, но по какой-то особой, глухо установившейся тишине заключил: полночь. Глазам снова пришлось привыкать к темноте. Он осторожно повернул голову — рядом с ним еле-еле пробиwался тусклый свет. Что за черт!.. Он долго глядел, прежде чем сообразил, что это в очаге какой-то уголек разгорелся, а наверху, рядом с Маматом, дыра в потолке, едва прикрытая соломой. Где же эта дыра — далеко от стены?.. И тут душа у него ушла в пятки: ведь дыра почти над самой нишей, куда курбаши положил шкатулку! «Ну, лежи тихо!» — сказал себе Мамат. Он

представил, что ящичек совсем рядом. Вот ведь бог покарал! А может... может, и не карал вовсе?..

Страшно было думать, что всё — басмачи и сокровища — так близко! Колотящееся сердце, казалось, ощутило сотрясает воздух. Надо поразмыслить! Успокойтесь и поразмыслить. Долго лежать здесь опасно, торопиться — еще опасней. Как же быть?.. Спасительные выдумки не приходят, в голове шумит, каждый шорох сена — как горный обвал. Внизу, слава аллаху, кто-то начал храпеть, сперва потихоньку, потом все оглушительней. Воспользовавшись этим, Мамат слегка пошевелил правой рукой. Если при каждом взрыве храпа он будет чуть-чуть продвигать руку, то сможет очистить дыру, откуда пробивается свет. А там... Ну, там, разумеется, станет виднее!.. Он чуть не хихикнул. И мысленно выругал себя — тоже, развеселился!

Дело оказалось не слишком трудным. Храпун совсем разошелся, стал еще и бормотать во сне, ворочаться. Мамат испугался даже, что он других разбудит. Но сам пока что под скрип его кровати успел отодвинуть сено и, вытянув шею, глянул вниз. Под сеном, из-под полы чекменя, поблескивал черный лакированный бок шкатулки...

Та-ак! Теперь бы только успеть до рассвета. Нельзя уйти отсюда без этого драгоценного ящичка. Собственно, когда он это решил?.. Только что еще и мысли ведь такой не было!.. Ну да ладно. Решил — так тому и быть. Надо проучить этих грабителей, что мучили невинного человека! А потом что будет?.. Э, пока лучше не думать. Еще шкатулку надо достать!

Тело у него горит, из носу течет, высморкаться и думать нечего. Он осторожно утер нос рукавом и стал тянуть руку к шкатулке. С каждым вдохом — на длину ладони. Если кто не спит, подумает — это крыса шуршит. Но что это он затеял? Дотянуться до шкатулки — это же надо самому наполовину просунуться вниз, в дыру!.. Ладно, попробуем еще!.. Не успел он потянуться, кто-то внизу как закричит: «Руби саблей!» У Мамата чуть сердце не разорвалось от испуга, он замер, как ящерица на камне, и руку не втянул — так и повисла с потолка. Уф-ф... Видно, все тот же храпун бредил. Сосед его поднял голову, сказал со сна: «Чтобы сдох!» — и снова тишина, взрываемая храпом.

Мамат, однако, долго не мог успокоиться — лежал весь в поту, сердце колотилось, как муха о стекло. Про-

клятый ящичек! Не блестеть бы тебе, как черная змея, сгореть бы к черту! «Достану — сожгу со всем золотом!..» Хотя нет, глупо: жизнью не дорожит, только б достать, разве сожжешь?.. Надо возвратить бедняге баю. Сидит там, запертый под замок, в пустой мехмонхоне с разрушенной нишей, и думает свою горькую думу о сыновьях...

Отдышавшись, Мамат полез дальше. Не будь сена, как было б просто! А ведь он, дурак, летом сам его сюда натаскал. Вспомнишь — зло берет. Но кто ж знал?.. Э, хватит думать черт-те о чем — сейчас все мысли должны быть в руке, в пятерне. Кончики пальцев, okayзывается, такие чувствительные бываюти... как нос у собаки... Вот ворот чекменя... вот... нет, пустота... вот! Сердце Мамата екнуло: под пальцами очутился холодный, гладкий бок шкатулки. Все свои силы Мамат передал пятерне. Стронуть бы с места! Ох!.. Шкатулка выскользнула из чекменя неожиданно легко. Но как теперь ее из сухого сена вытащить?.. Рука дрожит. Не то он устал, не то волнуется. Та-ак... только б не вырвалось... тогда — все... конец...

Он едва помнил, как удержал ее, тяжеленную, в пальцах правой руки, как втянул себя обратно на чердак. Снова лежал неподвижно, чтоб отдышаться. Потом стал думать. За пазуху сунуть?.. Тяжела, выскочит. Завязать в поясной платок да за собой волочить? Сено так зашуршит, что не только эти — вся округа проснется! Выходит, самое трудное впереди. Выбраться с чердака — всего-то пять-шесть шагов сделать, а попробуй сделай...

Но видно, мысли Мамата, воодушевленные удачей, крутились упрямо и безостановочно, как мельничные жернова, — недаром с выпуклого лба ручейками тек пот. Есть выход! Он будет держать ящичек обеими руками и тихонько перекаtywаться. Медленно-медленно, как солнышко на небе... Сколько потребуется времени на путь в шесть шагов?..

Но тут случилось то, чего он никак не ожидал. Кто-то заколотил в наружные двери или ворота, и грубый голос пузана завопил:

— Что за чушь! Эй, открывайте!

По голосу ясно: он свое сделал.

А Мамат? Ему-то до своего ой как далеко!.. Теперь все проснутся, и курбаши, чуть очухается, первым делом протянет руку к нише. А в нише пусто... Конец, нет

избавления! Разве что выбросить шкатулку? Так ведь и его сразу найдут!..

Внизу и впрямь стало шумно, кто-то открывал гонцу двери, кто-то стонал от головной боли и смачно ругался, кто-то, зажав в руках комок сухой глины, собирался в отхожее место, кто-то мурлыкал песню, искал угли для чилима...

И вдруг страх Мамата прошел и в голове прояснилось: да ведь сейчас самое время встать и убежать! В таком шуме никто ничего не услышит, хоть пляши на потолке. Конечно, надо действовать на авось, но разве есть другой выход? Сейчас или...

Он даже не успел додумать — вскочил, туго завязал груз, сунул под мышку, на коленях вылез из чердака и с крыши хлева прыгнул прямо в кучу навоза. Оттуда перелез через забор в загон, дальше, по грядкам огорода, вышел к краю усадьбы; не оглядываясь, вытащил свое сокровище и сунул под каменную кормушку. Сверху набросал навоз, притоптал чарыками — и все так же, не оборачиваясь, зашагал по дороге. Поле, поросшее по краям тамариском и сизолистым тополем, пряталось в тумане, но рассвет уже начался.

Теперь — напрямик на пастбище!

Он так стремился на вольный простор, словно выбрался из душного ада. Так оно и было!.. Чарыки Мамат перебросил через плечо и, ступая босиком по мокрой росистой земле, ощутил себя свободным, сильным... словно не мыкался ночь без сна, а всласть отсыпался. Дышалось полной грудью, в мыслях совсем просветлело. Да, уж повезло ему, как и в семи снах не приснится! И ведь ничего не задумывал, все сделалось само. Удивительно, как только хватило хитрости и бесстрашия!.. А этих-то... этих кровавых бездельников... как их проучил! Вот бы поглядеть, что они там делают... Но тут же он от этой мысли поежился. Нет, лучше уж быть подальше. Наверняка схватились за ножи, обвиняют друг друга. Или, может, бая?.. Да нет, бай ведь под замком!.. Хоть бы они все друг друга поубивали. Не найдут ящичек, хоть с собакой ищи. Лежит ихнее золото в трухе, под навозом. Там ему и место! Не для себя его Мамат брал, нужно больно... грязным штанам да золотая оторочка! Тьфу! Нет, пусть только все затихнет — и вручит Мамат эту проклятую шкатулку самому баю.

Дня три-четыре спустя Мамат по какой-то надобности снова отправился в кишлак, да ему и не терпелось обрадовать бая. Небось лежит в пустом доме и ноет. Зато какой сделается у него вид, когда Мамат вручит драгоценную шкатулку! Вот будет здорово! Очень уж простой он человек, бай Салим. Ведь потому и прозвали его «Салим-скотник», не из-за одного скота: «чорва» — значит и «скотник» и «простак». Взять хоть бы тогдашнюю ночь: просидел ее без толку в запертой мехмонхоне... Что ж там, оконца не было, дыры, щели? Да хоть бы стену пробил, шум поднял, людей позвал. Имущество-то ведь твое! Нет, покорился... как баран, которого стригут. И хотя в ту ночь Мамату это тоже не приходило в голову, но ведь сам-то он, Мамат, даром что мальчишка, сумел обдурить насильников. Вспомнишь — и до сих пор душа радуется!.. А может, потому и обдурил, что мальчишка, они о нем и не подозревали?.. Ну, так ли, сяк, а он свое сделал...

Мамат невольно улыбнулся. Тропинка, уходящая зигзагом по солнечному склону горы и знакомая ему как собственные чарыки, сбегала к лоскутным полям внизу, к подвядшим, но еще густым, не тронутым осенью тутовникам. Лето на исходе, но долина по-прежнему полна зеленой жизни: кажется, глядит на Мамата и улыбается, как на собственное вернувшееся дитя. Он же здесь вырос, и помочь кому-нибудь здесь в такие тяжкие времена — радость. После трехчасовой дороги он на этот раз не чувствовал никакой усталости.

Дойдя до усадьбы, Мамат пополз на коленках по высохшему пруду, в тени спадающих с дувала виноградных лоз. Со стороны дома не доносилось ни звука. А все же надо сперва разузнать, что там и как. В сторону каменной кормушки он даже не глянул, хотя, когда проползал мимо, сердце так и забилося.

Вроде действительно тихо. Он поднялся, огляделся, вошел во двор. Никого. Но, распахнув двери бывшей «людской», замер: там словно неделю бұран бушевал! Котлы перевернуты, сено раскидано, двери вырваны, окна разбиты. Искали как следует! Хорошо — не поджгли!

В дверях, ведших в мехмонхону, показался Салимбай. Он брел не глядя, как удрученное привидение — истощавший, в болтающемся белом бязевом халате,

глаза на осунувшемся лице ввалились, даже борода вроде съежилась.

— Бай-ота... — сказал Мамат.

Бай поднял глаза, увидел мальчика — и весь затрясся:

— Это... это ты, нечестивец?!.. Ты где пропадал? — закричал он неестественно обиженным голосом и вдруг заплакал.

Шайтан, что ли, подменил бая? Никогда хозяин так с ним не обращался! Бай проглотил слезы и заговорил тем же тоном:

— Правду, видно, говорят: кто родился от пса — в жертву не годится! Твоего бая-бобо ограбили, разорили, а тебе и горя мало: столько дней не показываешься! — Бай перешел на крик: — Когда не нужен, так и вертишься под ногами, чтоб тебе молодым помереть! Воспитай ягненка-сироту, рот и нос твой будут в молоке, воспитай мальчонку-сироту, рот и нос твой будет весь в крови... Ох, проклятье на могилу твоей матери!..

Бай замолк, горестно качая головой, — видно, запал кончился. Мамат понял: баю надо сорвать на ком-то свое горе. Но и у него, Мамата, есть гордость — пусть и ничего больше нет. Упреки бая пронзили его до кости. Он-то старался, жизнью рисковал, всю ночь мучился, пока бай смиренно сидел в мехмонхоне, — и спас ему шкатулку... Тут ему пришло в голову, что, выложи он вот сейчас шкатулку да отдай — все бы тотчас переменялось! Выходит, дело в шкатулке, а не в человеке?.. Ему, Мамату, этот поганый ящичек со всем добром и на понюх не нужен, ему бая-ота жалко было... А баю... Нет, надо подумать. Подумать надо!

Мамат принялся подметать двор и дом, вытаскивать мусор, битый кирпич, обломки битой посуды и дерева, а сам воображал, как тут все было после его бегства.

...Курбаши, едва глаза продрал, сразу, конечно, протянул руку к нише. Клад исчез! Меж пышных бровей курбаши разом вырос бугор. Он вскочил и уставился на спутников.

— А ну, — проговорил он грозно. — Кончайте шутить!

Джигиты глядели, ничего не понимая. Не проснулись толком.

— Я кому сказал — кончайте шутить! Со смертью играете!

До пузана дошло до первого.

— Что за чушь! — буркнул он испуганно.

— Чушь?!.. — заорал курбаши. — А шкатулка где? Где-е?! — Он стряхнул на пол сено, на котором спал, потом выдернул из ниши камень и встряхнул, потом стал выбрасывать сено из ниши, заглянул под кровать. — Ну?! — заорал он снова. — Где?! Кто взял? Ищите! — И обвел всех глазами. Лица у всех были испуганные, без притворства. — Дверь на замок!

Пузан кинулся запирать входную дверь. Он один был вне подозрения, ездил к беку. Запер дверь и стал около нее с винтовкой. Но у курбаши мысли, видно, направились в другую сторону. Одетый кое-как, волоча один сапог, он как вскочил, так больше и не приводил себя в порядок, — идет к дверям в мехмонхону, подрагивающей рукой вставляет ключ в замок, и, когда резко распахивает обе створки резных дверей, все видят Салим-бая в той же позе, в какой оставили его вчера: серый, безучастный, он сидит на полу, прислонившись к полуразрушенной стене... Его поднимают, тащат за руки в «людскую», расспрашивают с угрозами, но очевидно, что он ничего не знает и как бы не в себе. Курбаши осматривает полутемную мехмонхону — никаких следов. Он возвращается в «людскую», начинает прыгать по сури, разбрасывая и топча ногами сено; потом принимается за своих спутников — одного за другим хватая за воротник и со зверским выражением лица вглядываясь им в глаза... Пузан тем временем все стоит у двери и, торжествуя по поводу своей непричастности к событиям, выкрикивает:

— Что за чушь! Эй! Спали, как собаки после поминок! Что за чушь? Беку что скажем?

До полудня только тем и занимаются, что на глазах у хозяина разрушают стены и потолок «людской», ломают и выбрасывают деревянные кровати, то и дело перетряхивают и вышвыривают во двор сено, потом обыскивают ниши во всех комнатах, осматривают очаги, печки, рушат их, рыщут даже возле нужника.

Все напрасно! Шкатулка испарилась... улетела! Курбаши в отчаянии, джигиты в недоумении, один пузан злобно и торжествующе поблескивает маленькими узкими глазками. Только он тут вправе никому не верить! Но ведь и подозревать некого — вот в чем беда. Разве что нечистую силу!.. Но на нее беку не сошлешься... Нет, не сошлешься. И курбаши снова с бессилием отчаяния принимается за явно бесплодные поиски там,

где все уже перерыли. Надо же! Поспешил послать гонца к беку, получил благодарность за добрую весть... а что сказать теперь? Кто поверит? Кто простит? Только не бек. Красивое лицо курбаши побелело, он то мечется, то присаживается с безнадежным видом, то орет на всех, то шепчет молитву...

...Так все оно и было, думает Мамат, продолжая уборку, покуда замолкший после вспышки Салим-бай, как заводная кукла, ходит по своим разоренным владениям взад-вперед, взад-вперед. Мамату и невдомек было, как в самом деле все кончилось: после захода солнца тело курбаши нашли в хлеву — уперев приклад в кучу сухого навоза, пальцем босой ноги он нажал на спусковой крючок ружья... Джигиты, измотанные этим сумасшедшим днем, даже почти и не удивились своей находке. Всем было ясно: бек так и так не оставил бы курбаши в живых. Кое-кто помолился, кое-кто пробормотал из приличия: «Вручил долг... призвал его владыка... да будет в раю!» Только пузан, увидев мертвого курбаши, неожиданно прослезился... но тут же словно раздулся вдвое: он теперь становится старшим! Сели на коней, перебросив тело через седло — и умчались...

Мамат подмел золу, убрал мелкие обломки. Когда он тужился, пытаясь поднять упавшую с крыши тяжелую балку, к которой крепилась разрушенная теперь печь, тихонько подошел бай и, ухватясь за другой конец балки, молча помог мальчику. Когда он нагибался, Мамат искоса глянул и увидел на лице хозяина что-то, похожее на раскаяние. Но обида Мамата еще не прошла. «Э, нет, — думал он. — Хорошее в беде проверяется. Теперь-то я тебе, хозяин, цену знаю: тебе и твоей доброте. Не зря говорят: рана от ножа зарастает, рана от словца — нарастает. Нынче хоть и навязывайся мне — отступаюсь. А тот ящик проклятый пусть сгниет в навозе!.. Хотя...» Мамату вдруг вспомнился учитель-ногаец со своим грузом. Вот кому бы, наверное, пришлось кстати добро из шкатулки... Да где его найти? Кто знает, по каким кишлакам он бредет. А может, прямо в приют снести? Но где и приют-то этот?.. «В Симе, таксыр... — вспомнил он. — В самом Симе...»

6. МАМАТ МЕНЯЕТ РЕШЕНИЕ

Под столькими ударами судьбы Салим-бай растерялся. Причина таких напастей, решил он, может быть только одна: его собственные грехи. Жизнь в одино-

честве, не требовавшая усилий ни ума, ни тела, расслабила его и превратилась в простое ожидание — ожидание сыновей. Хозяйство, думал он, все равно рушится — вот и стал продавать, что можно, полагая, что так спасет хоть что-то для наследников; дошла очередь и до овечьих гуртов, он отдавал их оптом. Одно его мучило — воспоминание о словах покойного курбаши насчет его сыновей: «Скоро они зарежут друг друга...» Сам-то, говорил себе бай с мстительным злорадством, сам-то и дня после тех слов не прожил, а мои сыновья, слава аллаху, живы!.. И давал клятву: если хоть один из мальчиков здесь появится, посадить под замок и никуда больше не выпускать... Как же, возражал он себе, посадишь их! Не выпустишь!.. Нет, уговаривать надо, умолять, в ноги броситься, может, поймут, опамятуются, жестокосердные, сообразят, какова цена отцовского наследства, как дорого стоит родительская боль и забота... Поймут, где уж там! Вот помру — тогда и поймут... Видно, и мальчишка Мамат не очень-то верит, что Халим и Алим могут вернуться. Змееныш!.. Или нет, не змееныш он, неплохой паренек, иной раз посмотрит так добро, с жалостью, спасибо и за то, все-таки живая душа.

Салим-бай большей частью возился в заднем загоне, там у него есть лошадка, приведенная с пастбища, чтоб в арбу запрягать, и он ее обихаживает, кормит овсом. К тому же из этого загона весь кишлак — как на ладони. Появится чья-то фигура — бай встанет, упрет подбородок в черенок вил и не сдвинется с места, пока не узнает, кто там идет или едет.

Однажды пробирались через холмы три всадника. Бай стоял, смотрел, сощутив глаза, никого вроде не узнал, но надежда и тревога сменяли в нем друг друга. Всадники не проехали мимо — остановились у ворот, спешились, коней привязали за колья в тени вяза и ступили во двор. Первым шел худой хромоногий человек в кожанке, из-под которой торчала деревянная кобура, второй был, верно, его помощник, — Салим-бай видел, как он принял у первого коня и приоткрыл ворота. Третьим оказался председатель местного совета, словоохотливый маленький человек, который зимой и летом носил киргизскую шапку; и как это Салим-бай не узнал его сразу? Видно, зрение портится...

— Раньше на дворе собака была... — сказал председатель, беспокойно озираясь.

— Нету, давно нету, входите!— сказал Салим-бай.

Гостей он принял на вытащенной из «людской» деревянной кровати; вместо сломанных ножек под нее подставили кирпичи.

— Аминь! Откуда будете, дорогие гости?..

— Мы из Узгена, бай,— сказал тот, что был в кожанке.

— Ладно, был бы мир и спокойствие...— И бай велел подать чаю.

Пока Мамат собирал на поднос угощение, в голове у него словно вспыхнуло: «Красные!» В самом деле, раз пришли с председателем Совета, кем же им быть еще?.. Он их давно ждал — ждал и боялся. Не сегодня, так завтра, но они обязательно должны были прийти — за лошадьми ли, хоть лошадей больше и не было, или по другой причине... И вот они здесь!.. Расстилая скатерть, ставя поднос, заваривая чай, он лихорадочно размышлял. Может, отдать ящичек им?.. Приют-то Совет открыл, если отвезут сокровища в Совет, так, наверно, купят сиротам и еду, и все, что нужно... Только вот болтливому этому коротышке — председателю — не очень-то верится. Сидит, мелет чепуху...

— Зачем ставите колышек для телки, что на свет еще не родилась!— говорил коротышка баю, наливая чай в пиалу.— Только и знаете, что жаловаться, а у вас вон две ниши бархатных одеял! У меня так и циновки нет...

Даже хромой в кожанке его оборвал:

— Ну, председатель, вы вроде хвастаетесь, что циновки нет! Нет, так сплетите... Камыша еще хватает.

Мамат не слишком прислушивался к беседе, своих забот выше головы. Если отдавать сейчас ящичек, надо успеть сбегать на задний выгон, вытащить, очистить от навоза... И передать этому, в кожанке, да так, чтобы бай не заметил. И еще наверняка спросят: где взял? Разве это наскоро объяснишь?.. И не приведи бог бай увидит — позор!..

Наконец Мамат обдумал все до мельчайших подробностей, стал прислушиваться к разговору, чтоб не упустить нужный момент, и обнаружил, что беседа приняла крутой оборот. Хромой в кожанке, поначалу вроде доброжелательный, говорил теперь жестко:

— Когда приходят басмачи, для них все есть: и кони, и еда. А для Красной гвардии вы, оказывается, бедняк! Чуть не нищий!

Странно, подумал Мамат, с виду вроде добрый человек, а говорит несправедливо. Ему вспомнились те, первые трое: «Если у вас нет, у кого ж есть! Или все Красной гвардии отдали?...» Ну, что мог бай с басмачами поделывать?!..

Бай как раз отвечал, склонив голову:

— Ни белых, ни красных я не знаю...

— Не знаете!— уже совсем зло сказал худой в кожанке.— А джигитов бека вечерами пойте бузой! И золотом снабжаете!

— Снабжаю? Как же это снабжаю, уважаемый, они меня ограбили! Порушили тут все, разве не видно?.. Ну, не верите — ищите, в конюшню зайдите — там одна кобылка для арбы, желаете — отдам...

— Для нас, значит, тощая кобылка! А скакуны Халима, приученные к улаку? Басмачам подарил?— Это встрял коротышка председатель.

— Смотрите, мы над собой смеяться не позволим!— Начальник в кожанке, кривясь, массировал колено.

— Что ж вы от меня хотите-то?

— Мясо нам нужно, бай! Мясо! Красную гвардию создаем, ее надо едой обеспечить, понятно?.. Мы ведь не просто берем — расписку дадим... обещаем сохранить жизнь сыну вашему, что с басмачами!.. Ну, что скажете?

То ли потому, что напомнили о сыне, то ли от безжалостного напора гостя сгорбленные плечи бая задрожали, и он беззвучно заплакал. Худой в кожанке воспринял это как отказ; он резко поднялся, отчего кровать качнулась и с края упала и разбилась пиала. Спутники его тоже, чуть суетливо, встали и засобирались.

— За оказание помощи врагу Советской власти,— гулко сказал начальник,— мы конфискуем все ваше имущество. А вас, бай, отправим в ссылку!

Салим-бай еще больше сгорбился, теперь он весь трясся в беззвучном и бессильном плаче. При виде этого и Мамат чуть не заплакал от обиды. Неужели и у этих не оказалось жалости?.. «Враг»... «В ссылку»... Зачем же лежачего топтать? Выходит, будь худой на месте того курбаши, тоже бы искал и забрал шкатулку насильно?.. Нет, нельзя ему отдавать... нельзя...

Когда осела пыль, поднятая ускакавшими всадниками, и все вокруг стихло, Мамат почувствовал себя вконец растерянным, словно и он, как этот несчастный

бай, оказался меж двух огней. Да нет, каких там двух... ему и один не светит. Надо все-таки разобраться. Бая жалко, конечно... но душа к нему больше не лежит, нет! Вот только забота — сокровища под навозом. Хранить их там долго нельзя, разве знаешь, кто тут будет хозяйничать. Что явится кто-нибудь и поможет — ждать дальше глупо. Одно теперь Мамат знал твердо: сокровища эти — не байские, и не басмаческие, и не того, в кожанке, и не Маматовы; конечно, это — сиротская, приютская доля. Что он сам сирота, Мамат и не вспоминал. Так что же остается? Самому искать тот приют?.. На арбе, или пешком, или на огненной арбе? Кто знает, как далека эта дорога... А-а, подумал он, учитель-ногаец одолевает же ее на своих двоих, да еще с грузом, а я что?.. Да, но учитель знает, куда идти... И я узнаю! Язык и до Сима доведет!.. Растерянность Мамата как рукой сняло — предстоящие поиски представились ему чудесным приключением. Но тут он подумал о шкатулке. Да, в ней-то и загвоздка. Если кто учует хоть бы тень ее — не рассчитывай больше ни на совесть, ни на жалость. Запросто можно голову потерять. Один уже расстался с жизнью. Да, наверное, и не один... Ну, авось никто не догадается: вид у него не ахти какой!.. Знать бы, как долго идти. Осень ведь на исходе. И пропитанья — кот наплакал... ничего, свет не без добрых людей.

И все равно ведь другого выхода у него нет!

7. ОПАСНАЯ УЛИЦА

Когда воробыха на выступе камышовой крыши прочиркала рассвет, Мамат был уже на ногах. В веревочном гамаке лежали приготовленные в дорогу переметная сума и пастуший мешок. Бай сулил за труд по одной козе и одной овце за год — но он уйдет, даже не напомнив о плате, значит, обижаться баю не на что. Вот только у Мамата у самого заныло сердце. Кокандские цветы по берегам арыка пожухли, листья черной шелковицы падают, не успев пожелтеть. После его ухода все тут и вовсе осиротеет, и что будет с этим потерявшим радость и прелесть разоренным двором?.. А его, Мамата, что ждет впереди?..

Под матрацем у него хранился оставшийся от бабушки серый камзол. Мальчик достал его, встряхнул и напялил. Запахло перцем. В мягких носках старых

разбитых чарыков утопали пальцы; чарыки непарные, ну да ладно, пригодятся в такой дальней дороге. Он намотал портянки, обулся. Веревки пастушьего мешка, наполненного сухарями, толокном и сушеным урюком, продел под мышки и вскинул мешок на спину, переметную суму перекинул через дувал. Потом сам поставил ногу в провал около очага, перелез в задний загон. Перелезая, он задел глиняную крышку печи, она сорвалась и напугала горлиц, сидевших на желобе. Мамат замер, переждал, потом по грядке огорода подошел к каменной кормушке, ногами разворошил навоз, землю... Показался перламутровый ящичек, по-прежнему блистающий и нарядный. Сердце у Мамата екнуло. Он чувствовал, что словно бы выходит на какую-то страшную и опасную, полную неизвестности улицу. Но и назад тоже пути нет! Он рукавом протер ящичек, вернулся к дувалу, сунул драгоценности в большое отделение переметной сумы, из маленького вынул портянки и кусок кукурузной лепешки, положил поверх шкатулки. Потом перекинул суму через правое плечо, большим отделением вперед, надвинул на глаза замызганную козловую тубетейку — и двинулся в путь.

Выбравшись из города, он должен был идти по склону холма, по тропинке, проложенной скотом, пока не выйдет на большую дорогу. От тяжести груза он заметно сгорбился и ступал носками чарыков. Дорогу в город он знал, хоть в городе не бывал никогда: сколько раз провожал Халима на улак!.. Дорога доведет до города, а там должна быть огненная арба — так он слышал, она и довезет до Сима. Доберется!.. Только вот шагать неудобно, тропинка неровная, вся в выбоинах, а главное — этот ящичек на груди! Что тяжел — это еще полбеда, но давит на грудь, дышать мешает... и торчит, наверное, всем будет заметно!

Ну, ладно, ладно, дайте только выбраться на ровную дорогу. Легче станет идти, и можно будет подумать о том, как встретят его в приюте, когда узнают, с чем пришел. Ради этого стоит постараться!.. Но, увидев впереди, в рассветном тумане, человеческую фигуру, Мамат испугался, словно с волком встретился. Слава аллаху, фигура ушла с дороги в сторону, а пройдя еще немного, он увидел, что и бояться было нечего: какой-то рано поднявшийся старик оправлялся у тополя и теперь, поддерживая штаны, шагал в огороды. Однако что ж это будет, если так пугаться каждого встречного?

В городе-то небось полно людей... Не вор же он! Не вор... Это уж как посмотреть... Бай, если б знал, счел бы его самым что ни на есть настоящим вором. И кто знает, с кем придется встретиться... Коль рассудить, жизнь его на волоске висит!..

Тропинка для скота давно осталась позади, развеялся привычный запах кизяка. Дорога была ровной, но зато пыльной, дырявый чарык сразу отяжелел. В полдень Мамат присел у обочины под кустом и съел кусок кукурузной лепешки. Росы давно и след простыл, земля накалилась. Мамат снял чарыки, вытряхнул, положил в суму поверх ящичка. Опять же и ящик так подальше от глаз.

Дышать становилось все труднее. Встречные и обгоняющие арбы — Мамат усиленно их сторонился — поднимали густую пыль; привыкший к чистейшему воздуху пастбищ, мальчик сильно устал. И он, и вся одежда на нем были в поту; шипало все ссадины, порезы, болячки. Ближе к вечеру осторожности в нем поубавилось: он упросил дехканина, который вез солому на базар, посадить его на верблюда. Но едва отдышался, опасения вернулись. Вдруг погонщик спросит: чей ты сын, что у тебя в суме?.. Стоило тому повернуть голову, Мамат вздрагивал, сердце уходило в пятки. Никогда он ничего не боялся, пока не вошла в его жизнь эта проклятая шкатулка!

К счастью, хозяин верблюда оказался человеком неразговорчивым. В начинавшихся сумерках подъехали к кишлаку — и тут Мамат, сказав: «Спасибо, дядя!», съехал наземь по рогожным мешкам с соломой. Верблюд через несколько мгновений исчез на одной из боковых тополиных улочек кишлака, а Мамат на плохо гнущихся от неудобного сиденья ногах зашагал было дальше. Ему казалось, драгоценности в ящичке стучат друг о друга на весь поселок; а может, это сердце колотится?.. Осенний вечер надвинулся быстро; надо ведь какой-то ночлег найти! Остаться на дороге или на улице нельзя, в баню или хумдан вряд ли заберешься, да и подозрительно это, в чужую дверь в такое время стучаться бесполезно... Мамат миновал пустырь, которым завладела стая бродячих собак, и вдруг увидел свет впереди — в ноздри ударил сырой запах водоема и тальника. Это оказалась большая чайхана. Мамат сел на край сури, стоявшего снаружи, и стал в темноте дожидаться ухода последних посетителей. Наконец

чайханщик прикрутил фитили в лампах, вытряс паласы и циновки и стал стелить себе постель. Тут Мамат и вошел в чайхану.

— Дядя самоварщик, можно мне переночевать тут?— сказал он просительно.

Чайханщик был низкорослый, толстый человек с отвислыми щеками; лицо у него казалось добрым.

— Деньги есть?— спросил он мягко.

— Я из приюта. В кишлаке своем побывал...— Мамат и сам удивился, как ловко соврал.

— Эх-ха...— не то сказал, не то выдохнул чайханщик и оглядел Мамата. Не остановил ли он взгляд на большом отделении переметной сумы? Мамат сжался, словно стараясь занимать как можно меньше места.— Где приют-то твой?

— В Симе, дядя!..

— Ох-хо-хо-о!— Снова непонятно было, говорит чайханщик или только вздыхает. Отвислые щеки его надулись, и весь он словно округлился.

Надо что-то сказать, подумал Мамат, может, спросить про дорогу в Сим? Ох нет, вот бы ляпнул. Скажет, как же ты из Сима, если дороги не знаешь?..

— Ладно, заходи,— сказал наконец чайханщик.— Бог воздаст... Вон там ложись, у столбика.

Мамат поклонился благодарно, поднялся на большое сури, облегченно вздохнув, сложил свой груз возле столба, на который указал хозяин, и уселся на циновку. В чайхане было тепло, уютно, пахло печеным хлебом. Он вспомнил, что говорил старый табунщик бая: «В дороге ночь всего страшней, а сон всего опасней!»— и решил, что пролежит до рассвета не сомкнув глаз, лишь бы отдохнуло уставшее тело. Он положил переметную суму в изголовье, сверху накинул снятый камзол и развязал мешок — чего-нибудь пожевать. Но тут чайханщик снял с огня чайник и снова зажег черную лампу.

— А ну, путник, давай-ка пить чай,— сказал он, расстилая на кошке квадратный платок.

Мамат вздрогнул:

— Не-е, спасибо, дядя, у меня... у меня толокно есть!

— Бери чай, бери, без горячего усталость не выгонишь!

Отказываться не было причин, но с переметной сумой что делать? Не подтаскивать же ее за собой!

И оставлять боязно... В первый раз за дорогу Мамат, скрепя сердце, отошел от своего драгоценного ящика — и будь что будет!..

Чайханщик молча пододвинул ему большое красное яблоко, налил чаю. Чай из самовара Мамату не понравился — он привык к чаю из черного кумгана. От этого ли, или из-за сведавшей его тревоги жажду Мамат не утолил. Он был только рад, что чайханщик оказался так добр и при этом не задавал вопросов.

Однако, едва они улеглись, вошли каких-то три дружка и разом испортили эту счастливую, обещавшую отдых ночь. То ли они бузу пили втроем, то ли с вечеринки шли и решили добавить себе ночного веселья, но вошли с шумом, с гамом и громко, нагло стали будить чайханщика. Один сразу задымил анашой, другой привязывался к хозяину с дурацкими вопросами и наконец заорал:

— Эй, чайханщик, кто это там лежит, а?!..

Чайханщик объяснил: прохожий, мол, сирота...

— А ну, позови сюда, потолкуем...

У Мамата даже волосы на голове зашевелились.

— Оставьте его, мулла-ака, спит, издалека пришел, бедняжка... И не годится он вам в дружки, сопливый еще.

— Сопли-ивый! Сейчас все беды от сопливых... Откуда знаете, может, украл золото у хозяина и сбежал! Таких теперь полно!

Чайханщик не стал спорить, только сказал: «Сейчас чай принесу...», а Мамат прямо-таки заледенел весь от страха. Что сейчас будет? Надо же, в точку попал, проклятый гуляка!

Аромат крепко заваренного чая разнесся по чайхане, хозяин принес дружкам чайники и миндаль да леденцы на подносе. Они стали прихлебывать, громко беседуя. Пахло анашой. Мамату казалось, что угол ящичка у него под головой вонзается прямо в мозг. Убежать бы, да разве убежишь. Дружки хохотали.

— Порази меня бог! — говорил тот, что одолевал хозяина вопросами. — Я ж говорю: все беды от сопливых! — Он выпускал изо рта вонючий дым и крикливо рассказывал о каком-то слуге, который поджег бая и скрылся. — Не то камсалон, не то гвардия называется. А сам — тоже сопливый. И этот еще говорит... Чайханщик! Чилим есть? Нету?.. Идите найдите...

Бедный чайханщик среди ночи пошел искать чилим, а Мамат лежал скорчившись, обняв суму. Он решил, если тронут, будет кусаться, и весь напрягся, как маленький, надутый воздухом мячик перед броском.

Дружки ушли на рассвете.

— Ворье проклятое... последнюю кроху покоя крадут!— ворчал чайханщик, запирая за ними дверь чайханы. Он подбросил углей в самовар и улегся. За окнами уже серело.

«Покой!— думал Мамат, всю ночь продрожавший от страха.— Где там покой... его теперь и не будет никогда...»

8. ГОРОД

Мамат видит город впервые. Лучше бы не видел. Еще недавно сердце у мальчика вздрагивало в испуге от каждой человеческой тени, а здесь людей — толпы! Сумерки наступили, а на улицах и площадях люди все суетятся, как мураши — туда идут, сюда проходят — куда их всех несет в такой неурочный час? Засмотревшись, Мамат чуть было не забыл про свой опасный груз. Ну, забыть-то не забыл, но куда ему теперь податься? Прошагал весь день, в коленках сил не осталось, стер пятки так, что ступить невозможно... Чарыки обул — еще хуже! И есть хочется — сил нет, а пастуший мешок давно пуст, и в суме тоже один этот проклятый ящичек и остался. Ноша должна бы легче стать, а сделалась, кажется, еще тяжелей.

Сколько же тут все-таки людей! Каждая улица похожа на базар, один идет сюда — толкает, другой идет туда — толкает; то лишь хорошо, что никому до тебя дела нет, никто тебя вроде и в упор не видит, каждый занят своим; иначе, будь он у стольких на виду, Мамат вконец бы издергался. Теперь он поуспокоился и даже рисковал задавать вопросы встречным. У горбатого, похожего на грузчика прохожего он спросил, как выйти к огненной арбе; тот сперва удивился, потом с улыбкой оглядел Мамата с головы до ног:

— Истанса?

— Да-а...

— Истанса не здесь. В Джелалабаде! Отсюда четыре дня ходу,— сказал он и тотчас, забыв о Мамате, пошел дальше.

Вот это да! Выходит, огненная арба здесь не ездит? Мамат вдруг почувствовал, как в желудке словно разозленная кошка царапается; а впереди — дорожные мушки длиной в целую жизнь!.. Изнутри-то его грыз голод. Да еще и ночлег найти надо! А здесь, он понимал, за просто так никто не приютит... Вместо чайхан — шумные кофейни, на каждом углу полно пьяных... Мамат постучал в две-три двери, но их только приоткрывали, окидывали его подозрительным взглядом и захлопывали снова. Город...

Идти — ногам не вмоготу, присесть у какой-нибудь лавки — станут спрашивать, что он здесь делает. Не будь с ним этого проклятого ящика, он бы ответил!.. Сколько ж ему скитаться, как вору? Или выкинуть его куда-нибудь в уборную — и свобода, и покой, иди на все четыре стороны! Мамат застонал, слипшиеся от пустоты кишки требовали хотя бы остатков вчерашнего толокна; начинал донимать ночной холод, чарыки мучили, а он все шагал, словно босиком по горячей сковородке... Людей становилось все меньше. Впереди на улице замаячил темный холмик — оказалось, куча золы: видно, неподалеку находилась баня, зола еще не утратила тепла. Мамат как был с грузом, свалился на теплую золу и тотчас словно растаял: провалился в забытье.

Очнулся он перед рассветом от холода. Вокруг него на золе лежало еще человек десять похожих на него бродяжек или сирот. Он судорожно пощупал суму: ящичек был на месте. Мамат встал потихоньку, поправил груз на плечах, отряхнулся и поскорей ушел. Сон вернул ему силы, но есть хотелось отчаянно. Свернув в переулок, он неожиданно-негаданно вышел на базар. Хотя только что рассвело, базар был полон. В нос ударили несчетные запахи, разжигающие аппетит: пахло тмином, чесноком, перцем; в соседнем ряду жарили тонкие лепешки, пирожки с тыквой, мясо. В арбузном ряду он увидел, недалеко от горы полосатых шаров, истекающие красным соком корки, облепленные мухами. Некоторое время смотрел на них, но прикоснуться не посмел: к чести бая, объедками его не кормили!.. Да, бай... Дожил до старости, а жить толком не научился — где уж это уметь Мамату, «сопливому», как говорил тот гуляка в чайхане. Это ж только рассказать кому: таскает на плечах золото, а сам с голоду помирает! Будь он сейчас на байском дворе, сидел бы в веревоч-

ном гамаке, макал кукурузную лепешку в варенье, запивал чаем... Тьфу ты, что толку себя растревлять — здесь, на базаре, голодному растравы и так хватает!..

Он не заметил, как очутился в деревянном ряду — прямо перед ним какой-то дехканин постелил овчину в тени высокой кокандской арбы, налил кислого молока в горшок с дымящейся кукурузной похлебкой и как начал хлебать большой деревянной ложкой!.. Мамат остановился перед ним как вкопанный, глаз не мог отвести. Не толкай его то и дело проходящие, он бы на колени опустился перед этой картиной!.. Тут кто-то задел за выпирающий из сумы ящичек, и Мамат опомнился, пошел прочь — мимо бешиков, сумаков и прочего деревянного товара...

Эге, вот и ювелирная лавка. Белолицый ювелир с остроконечной, подкрашенной хной бородкой подает чай богатому покупателю, а сам не умолкая расписывает достоинства поблескивающих на черном бархате золотых изделий. Мамат безотчетно подвигается ближе. К ювелиру подходят еще покупатели: «Хорманг... Будьте всегда здоровы...» Они рассматривают драгоценности, беседуют, и золотые с завитками серьги, кольца с красными камнями, горящими как огоньки, гладкие кольца, ожерелья то выходят из витрины на свет божий, то снова возвращаются на свою бархатную подстилку. Покупатели торгуются, торгуются — и идут прочь: дорого. Мамат тянется, глядит, а сам думает горячечно, как в лихорадке: «Да ведь те, что у меня в суме, не уступят этим! Они даже лучше... а я так дорого не стал бы запрашивать!.. Всего одну штуку... одно несостоящее колечко... за полцены!»

Он даже устремился было за удаляющимся покупателем, который смахивал на байского сынка, но что-то треснуло у него под ногами: откатившийся от прилавка деревянный сумака... Надо уйти, пока мастер не хватился!

Он ушел из ювелирного ряда, но тот все стоял перед глазами. Как этот ювелир в феске улыбался, обнажая золотые зубы — небось думает, он шах базара! А не знает, что есть человек, который не взял бы всю его лавку даже на заплату для переметной сумы!

Странное дело: Мамат почувствовал, что может собой гордиться — и теперь даже есть меньше хотелось. Он бродил, больше не боясь этой шумной толпы. Он здесь равен многим, а может, кого и повыше!.. Вот если

бы только не дразнящие запахи... Конечно, невелик грех продать задешево какой-нибудь заплесневелый байский перстенок и поесть. Если суждено добратся до приюта в Симе — так он запросто может объяснить свои мучения, и его наверняка поймут! И простят! Но как предложить эту золотую побрякушку? Об этом он не подумал. Стоит ее вытащить, сразу: «Где взял? Чье это? А ты сам кто такой? А как тебя звать? Да откуда ты?» И наконец: «Ну-ка, а что у тебя там еще в переметной суме?» Не-ет! Придется взять себя в руки, дети в приюте сейчас тоже, может, умирают с голода, а продать нечего... Так что — помолчи, желудок, не нойте, кишки, — есть причина терпеть. Стоящая причина.

Мамат бессознательно расправил плечи, сгорбившиеся под тяжестью ноши, мешок и веревки сдвинулись, и стертая кожа тотчас стала саднить. Надо хоть ненадолго снять груз и присесть... Кучка людей в лохмотьях пристроилась близ дровяного базара, и один из них пел — каландар не каландар? попрошайка не попрошайка? — но голос у него был хороший. Мамат присел рядом. Певец замолк было, потом минуту-другую раскачивался с заунывным плачем и снова затянул:

Ни отца и ни матери,
Все на свете черно.
Лишь лохмотья лохматые —
больше нет ничего.
Ни родни, ни пристанища —
только степь широка.
Кем ты стал, тем останешься —
сирота, сирота...

У Мамата на глаза слезы навернулись — это ж о нем пелось! Как хорошо, что дал себе волю и присел здесь... эти вот нищие — они ему, может, ближе всех!..

Певец умолк, выудил из медного сосуда, что держал на коленях, черную копейку и купил лепешек у проходящего мимо хлебного торговца с корзиной. Лепешки, видно, были еще горячие, он свернул их вдвое и завязал в поясной платок. Эх, была бы у него, Мамата, такая почерневшая монетка!.. Опять захотелось плакать, внутри все бурчало, жгло, поджилки дрожали — пожалуй, и с места не встанешь. Сам не зная как, он снова очутился в ювелирном ряду, только позади лавок. Здесь был свой, неубранный мирок, иной, чем с фасада. Какие-то приниженные подобострастные фигуры; макле-

ры, трясущие руки покупателей с такой энергией, словно надеются вырвать их и унести с собой; двигающиеся, как фигурки кукольника, женщины в паранджах, которые пришли за своими заказами. А вот мастер и ученик: в руках ученика — крошечные весы, а мастер держит за ручки форму, похожую на наперсток, и вливает туда жидкое золото. Спустя недолгое время тонкие серьги уже поднимают парок, падая в пилу с водой, и тут же другой ученик принимается их полировать; но покупателя с женской походкой, только что сошедшему с извозчика, серьги не нравятся: не блестят! И правда: в ящичке у Мамата есть старинные серьги — не чета этим! Глаза слепят блеском...

Коленки у Марата опять дрожат, и какой-то бесенок так и нашептывает в уши: «Догони, догони этого, с женской походкой, возьмет он твои серьги без слова — отдашь дешево, возьмет и скроется...» Ах, этот бес голода, он может все загубить! И, собрав все силы, чтобы подкрепить дрожащие колени, Мамат снова спешит уйти отсюда прочь: ему кажется, что идет он быстрым, решительным шагом, но в действительности еле волочит ноги. И тут, словно в страшное назидание, появляется перед ним дородный мужчина, который тащит из толпы за уши худого мальчугана — карманного воришку. Мальчик весь посинел, семенит на носках. Толпа гудит — кто за кого, понять невозможно; мужчина и мальчик снова исчезают за спинами, но страшное и жалкое лицо воришки так и стоит перед глазами Мамата: что будет, если оторвется ухо?..

А базар все гудит, гремит, издает нескончаемые запахи, слепит немислимыми расцветками и суетится, вертится, крутится, словно тысяча веретен. Но кто управляет этим гамом, кто запускает эту суету, поддерживает этот жар? Такие, как дородный мужчина с ухом воришки в руке? Или женоподобные лавочники с крашеными бородами? Или жадность чья-то, торгующаяся без удержу, или голод, раздирающий кишки рядом с этим изобилием, — голод, заставляющий кружить по базару и его, Мамата, и того несчастного посиневшего воришку?.. У него вдруг остро заболел передний зуб... или рядом с зубом. Может, попало что? Но что? Когда это он всыпал в рот последние крошечки кукурузной лепешки — вчера или позавчера?.. Надо снова скрепить все силы, а то упадешь — и конец...

Пойти к мелочным торговцам, продать одежду! Как он раньше не подумал? Та-ак... На чарыки никто и не посмотрит... ковровой тибетейкой, грязной донельзя и к тому же треснувшей, тоже всякий побрезгует... Зато камзол, бабушкин камзол на плечах, вполне хорош! Ну, запылится немного, пропотел... дело житейское, почищать! Камзол что надо! Правда, рубашка под ним расползается... ничего не поделаешь!

Выйдя к нужному ряду, он отыскал место величиной с ладонь, сел на переметную суму, расстелил камзол на коленях:

— Подходи-и, камзо-ол... новый камзо-ол!

Прозвучал его голос или пропал в базарном гвалте? Кто знает?.. Его лишал сознания запах еды — на этот раз пахло наперченными голубцами с яйцом да еще лагманом. Ну да, кривой ряд мелочных торговцев, похожий на змеинный след, огибал место, где готовят лагман. Вон и котлы кипят.. и парень-уйгур, молоденький такой, растягивает лепешку... растягивает... растягивает... его лицо приближается... Ох, да он и впрямь стоит рядом, весь красный от жара очага! Схватил камзол обеими руками, примеряет на себя. Грудь у него широкая. Мамат видит, что камзол ему подошел бы вдвое шире, значит, не возьмет... не возьмет...

— Распустить, что ли...— говорит между тем парень, все еще держа камзол в руках и размышляя вслух.— Эй, мальчик, а сколько стоит?..

Внутри у Мамата все заливовало:

— Мне деньги не нужны, ахун-ака... издалека иду... дадите четыре лепешки — хватит...

Четыре... почему он попросил именно четыре?.. А-а... тот прохожий сказал — четыре дня ходу... до Сима. «Ахун» не уходил, не вздрогнул, не возмутился — наоборот, глядел на Мамата с улыбкой; Мамат вскидывает на плечи свой груз, идет следом. Помещение пропитано густым, плотным запахом лагмана. Мгновение спустя парень ставит перед Маматом на сури полную касу дымящегося, чудесно пахнущего варева:

— Мы хлеб не печем, вот, поешь-ка этого...

Мамат чувствует, что теряет сознание... от запаха, от счастья, но он встряхивается, как птица, обеими руками хватая глиняную касу за бока... никто ее у него не вырвет! Никто!..

Насытившись, Мамат покидает базар. Базар, но не город!.. Из города надо еще суметь выбратъся... День меж тем клонится к вечеру, вот-вот упадут сумерки. На дорогу, неведомо сколь длинную, надо бы запастись хоть парой лепешек в поясном платке, а пока что... ох, тишина ли тополиной улицы, или жирный густой лагман после долгого поста — что-то вдруг расслабило Мамата. Разморила его сонливость, глаза слипаются, до слуха еле доносится стрекот сорок, устраивающихся на ночлег в голых ветках тополя... Улица, должно быть, проходит меж садами — людей не видно. Мамат спотыкается о кучу слезавшихся палых листьев и падает ничком. Этого и ждала его душа! Нет сил ни на ноги подняться, ни подумать об опасностях такой ночевки невесть где... Обняв руками переметную суму, он погружается в дрему, как в теплую воду, говоря кому-то недвижимыми губами: знаю — нельзя, да я немножко, чуть-чуть, самую малость...

Проспал он до утра — разбудил его далекий голос суфи, звавшего на молитву. Он поднялся, дрожа всем телом. Куча листьев — в инее; темнеет только след его тела, похожий на большое птичье гнездо; и все — взгорки дороги, гребень дувала, морщины древесных стволов — все серебрится от замерзшей росы. Он поднял на плечи суму и побрел по улицам, даже не зная, в какую сторону надо идти. Господи, как холодно! Теперь нет на нем теплого камзола, а каса лагмана, которую камзол оплатил, давно растворилась в холодной ночи. Надо во что бы то ни стало добраться до огненной арбы — говорят, у нее есть топка, стало быть, там тепло.

Тополиная улица оказалась очень длинной. Мамат, пока дошел до перекрестка, почти согрелся, перестал дрожать. Вымыл в арыке лицо и руки, огляделся. Пыльные улицы уходили в трех направлениях — если не считать того, откуда он пришел. Он выбрал улицу, обсаженную вишнями, в конце ее смутно виднелись голые холмы. Двери домов были еще заперты. Мамат заглянул в одну щель, приложил ухо к другой, не осмеливаясь постучать. Кто знает, найдется ли в этих дворах хоть один человек, что не пожалеет ему лепешки на долгую дорогу?

Наконец он постучал на авось в старые, тяжелые узорчатые двери. Тут, похоже, живут люди не бедные. Изнутри послышался сперва долгий кашель, потом хриплый мужской голос:

— Сейчас...

— Дядя, не нужен ли помощник? Могу хворост собирать...

Здоровенный угрюмый человек в наброшенном халате, с открытой волосатой грудью, показался в дверях, глянул — и молча, с силой захлопнул створки.

Мамат торопливо пошел прочь. От таких лучше держаться подальше. Не зря говорят: «пища птице — западня», можно и попасться. Если счастье не поможет, то и каша зубы съест...

Немного погодя он постучал в другие двери:

— Не нужен ли помощник?.. Хворост собирать?..

Молчание. Он поднял голову — и только теперь заметил, что дувал здесь полуразрушен, а в прорехи проглядывает нежилой с виду убогий дворик. И тут с другой стороны улицы раздался голос:

— Эй, мальчик!

Он обернулся: в дверях напротив, прикрывая рот концом платка, стояла старуха в старом бархатном камзоле, в точности похожая на его покойную бабушку. Он торопливо пересек улицу.

— Ой, какой маленький работник...— жалостливо сказала старуха.

— Что прикажете, тетя?

— Ты же спрашивал, не нужен ли помощник... Раскорчевать надо бы...

— Я раскорчую, тетя! А что — пень от тополя?

— От тополя, сынок... Только тополь был черный, смотри — не одолеешь...

— Одолею, тетя, одолею! Я привычный... Где он, покажите!— Мамат засуетился, боясь упустить такой счастливый случай. И голос у старухи похож на бабушкин. Она, видно, не поверила, что он в силах одолеть пень, но, может быть, ее подкупит его усердие... Он пошел за ней следом и увидел огромный тополиный пень в конце двора, похожий на слоновью ступню.

— Начнем,— деловито сказал Мамат, осторожно кладя переметную суму возле арыка.

— Начинай! Молодец,— сказала старуха.

Чтобы найти и обрубить корни, надо большой кусок земли перекопать, и для взрослого — на два-три дня

работы, старуха не может этого не понимать. Но раз сказала: «Начинай», значит, знает, что к чему...

— Топор, кетмень вон там, сынок, в кладовке! — сказала старуха и пошла к дому.

Дом был из одной комнаты и айвана — бедновато, конечно; что здесь нет мужчины, видно и по заросшим арыкам, и по рухнувшему карнизу. И кетмень лежит без хозяина, и топор давно не точен... Старуха в доме весело разговаривала с кем-то — впрочем, ясно, с ребенком. Ребенок, похоже, маленький: он пару раз ответил ей, голос то-онкий...

— Заррагуль, сейчас вынесу тебя на айван, посмотришь, как братец работает! — говорила старуха.

«Заррагуль...» Значит, девочка. Больна, что ли? «Братец» подвязал разинутые рты чарыков веревкой и принялся за работу. Иней стаял, земля сырая, мягкая. До раскинувшихся во все стороны корней было еще далеко, но работа пошла. В обед старуха вынесла касу подогретой кукурузной каши. Мамат деловито вымыл руки, пошел на айван. В солнечном углу сидела Заррагуль, с завернутыми в одеяло ногами, у губ она держала медный чанковуз. Так вот кто выводил эту слабо доносившуюся до него грустную мелодию!.. Заррагуль оказалась вовсе не маленькой, ей, как и ему, лет тринадцать, только голос слабый, тонкий, наверное, от болезни. Старуха вышла на айван, встала чуть поодаль, опершись на столб. Пальцами подпирая щеку, она, казалось, с упоением наблюдала за Маматом, который с истинно мужским аппетитом уписывал кашу.

— И кому, богом данному, ты доводишься сыном? — спросила она, когда он доел и, осторожно отдуваясь, выскребывал касу. — Кого ищешь в этих краях?

Ласковая старуха, по голосу ясно. И Мамат, все время опасавшийся расспросов, на этот раз коротко рассказал ей обо всем, что с ним случилось в жизни, умолчав только историю ящичка в переметной суме. Он уже встал, чтоб идти работать, но старуха все не унималась:

— А этот приют... куда ты собрался... годится он для тебя, сынок?

Мамат пожал плечами.

— Ну ладно, сынок, да пошлет тебе бог удачу...

До вечера Мамат заметно углубился в землю. Если завтра удастся найти и перерубить главные корни — бог даст, можно будет уже перевернуть пень! Но все

тело так ломило и ныло, что он не мог вспомнить потом, где и как лег спать. Проснулся под навесом, где была привязана коза, на сене, обнимая руками свою переметную суму, а над ним, улыбаясь, стояла старуха с ведром в руке.

— Хотела постелить тебе, а ты уже уснул. Ну и не стала будить. Видно, здорово устал, сынок, а? Спал-то хорошо?

— Очень хорошо. Спасибо, тетя!

Мамат удивился, что переметная сума оказалась с ним: как ни старался, он не мог вспомнить, чтобы тащил ее сюда и положил в головах. Видно, это вошло у него в привычку. Ну да ладно, ведь здесь-то опасаться нечего. Да и старухе, кажется, большее удовольствие потолковать с ним, чем увидеть пень выкорчеванным. Вот и сейчас: работы — край непочатый, а она зовет его завтракать козьим молоком...

Заррагуль грелась на солнышке — на том же месте, что и вчера.

— Я испугалась, что вы ушли, — сказала она своим тоненьким, как у малолетних, голоском.

Мамат быстро глянул на нее. Испугалась? Чего? Девочка, словно услышав немой вопрос, улыбнулась, приподняв черные брови.

— Пока не выкорчю пень, не уйду, Заррагуль, — сказал он.

— А потом? — В голосе ее прозвучала жалобная мольба. Ну, что ей ответить!..

— И потом... и потом, Заррагуль, буду с тобой разговаривать!..

Стыдно будет, если и сегодня не выкорчю пень, думал Мамат, орудуя кетменем. Обедать он не пошел. Горки красноватой земли вокруг ямы доходили уже ему до пояса. В сумерках он отряхнул одежду и пошел на айван. Заррагуль сидела там и чуть не плакала: она ждала его с утра, измучилась вся...

— Чего ж ты спать не пошла?

— Вы же обещали поговорить со мной... — Тон у нее был разом и ласковый и обиженный.

Ему захотелось погладить ее по голове. «Была бы у меня такая сестренка...»

— Что у тебя болит, Заррагуль?

— Нога. Весной поправится, дядюшка лекарь говорил. Весной на холмах растет такая трава... я забыла,

как-то чудно называется... ну, лечебная трава. Бабушка нарвет ее — и потом...

Обиды в ее голосе как не бывало, она зачастила, затараторила. Оказывается, она такая же болтушка, как все девчонки. Мамат поглядел на ее красиво сведенные брови и улыбнулся.

— А потом... потом, когда я выздоровею... вы не уйдете?

— Весной, когда ты выздоровеешь, я вернусь, Заррагуль...

— Нет, правда? Правда, вернетесь?.. Обманщик вы...

Тут вышла старуха.

— Эй, девчонка, не разговаривай так с братом! — сказала она строго. — Пади я за тебя жертвой... Идем, идем, я уж постелила тебе... — И она унесла Заррагуль вместе с одеяльцем. Видно, легка как перышко, бедняжка.

Эх, будь это возможно, Мамат носил бы ее на руках и, глядишь, вылечил бы ее. В ушах звучал ее сладкий голосок, в глазах стоял ее болезненный, невинный, милый облик.

Старуха снова вышла:

— А тебе, сынок, я постелила здесь, на айване.. Ты заставил меня вчера устыдиться — заснул в хлеву, вместе с козой. Что ж, у меня в доме места нет? — Она взгляделась в его лицо и присела рядом. Лампа на столбе горела с треском, отбрасывая круги тусклого света. — Если у тебя какие неприятности, сынок, ты скажи... Мы тебя полюбили, веришь? А какая-то заноза есть у тебя в сердце, я же чувствую...

— Да нет, тетя...

— Сдается мне, не тянет тебя в этот приют...

— Почему?

— Да уж не знаю... Ты сирота, мы тоже. Оставайся. Буду тебе вместо матери, наш дом и твой будет. Прокормимся, сынок... И Заррагуль поправится, бог даст... Ей уж недалеко — скоро взрослой станет. Будет лежать сердце — поженю вас... Она хорошая девушка, Заррагуль, умница...

— Да, — сказал Мамат невольно, но тут же опомнился, даже отодвинулся чуть. — Что вы, тетя, о чем говорите...

— Ну-ну, хороший ты паренек.

— Вы же меня не знаете!

Старуха глянула на него пристально, помолчала мгновение.

— Значит, мы тебе не понравились,— сказала она и снова умолкла.

Молчал и Мамат, хотя слова внутри у него теснились и рвались наружу. Не понравились!.. Понравились, тетушка... И он бы счастлив тут остаться... Но не может. Не может! Он — раб шкатулки, той самой, что прячется в его трепаной переметной суме... И он тут же начинает корить себя, что расслабился, как не подобает мужчине. Ишь, издевается он над собой, поработал за еду — и привлек к себе беду!..

Старуха собрала бедный дастархан и пошла было, потом остановилась.

— Судьба, сынок,— сказала она.— Плов за нами...— В голосе у нее были слезы.

Она задула лампу и исчезла. Вот, думал Мамат, обидел женщину, которая тебе, сироте, готова была стать матерью! Можно сказать, оттолкнул мать ради этих чертовых сокровищ!.. Да ведь не мне эти сокровища, не мне, сказал он себе с отчаянием. Он бросился на постель, закрыл глаза. Где-то далеко возникла грустная мелодия. Это Заррагуль играет на чанковузе, и тонкий звук смешивается с отдаленным блеянием овец...

Уснув, он оказался участником какого-то удивительного обряда с карняями и сурняями. Все бы ничего, но болела поясница. Это — от того ящичка, понял он и махнул на все рукой, продал и ящичек с содержимым, и все остальное, что у него было, починил старухе карнизы, возле старого дома выстроил новый, тоже с айваном, на месте вырытого пня посадил цветы. В конце концов, это не чья-нибудь, а его свадьба: он женится на Заррагуль. И старуха так рада, так рада...

Ведь это его бабушка!

— Бабушка, где ваш камзол?— спрашивает ее Мамат. В ответ бабушка начинает плакать, и Мамат понимает, что с камзолом дело плохо.— Не плачьте, бабушка, я ваш сын, я остаюсь здесь, не плачьте! Я истрачу все золото, но осчастливорю вас с Заррагуль! — говорит Мамат, но старуха все плачет, не может остановиться.

И когда на рассвете Мамат открывает глаза — и в самом деле, немного поодаль от него сидит на айване и плачет старуха. Странно, наверное, он и во сне слышал, как она сидела тут и плакала. Тут другая часть

недавнего сна всплывает у него в памяти — как он продал ящичек, и он встревоженно шупает суму под головой. Слава богу, ящичек на месте, никому он его не продал! Вставай же, вставай, раб божий, не знающий, что будет с тобой завтра! Идти надо...

Заметив, что он проснулся и возится, старуха подошла.

— Что тебе дать, сынок, чтоб ты был доволен?

— Мне?.. Две лепешки, тетя, больше ничего. Две лепешки на дорогу и ваше благословение...

— Только-то?..

— Да-а... Я у вас ел-пил, слушал ваши добрые слова. Дай бог вам силы, а внучке вашей здоровья и счастья...

Старуха пошла в дом — на цыпочках, чтобы не разбудить Заррагуль. И вышла с четырьмя лепешками и бязевым халатом («От сына умершего остался, отца Заррагуль»), поясным платком, старыми сапогами...

— Хоть и старые, но от души, сынок! Обуйся, осень холодная наступает...

У Мамата душа переполнилась благодарностью, нежностью... может, и слезами... Но он постарался не показать вида — просто поклонился низко. Халат был длинноват, но если затянуть платком, ничего, сойдет. Сапоги... для мужчин не бывает маленьких и больших сапог! А вот лепешки — сказал «две», значит — две! Все! Конец!

Старуха его благословила.

— Будем живы, тетя... увидимся! Приду повидать Заррагуль, обязательно приду! Не плачьте...

И он — груз на плече, лепешки в поясе — шагнул за калитку, не оглядываясь, пошел по улице. Калитка не стукнула ему вслед. Значит, старуха стоит, смотрит.

10. МАСТРАПЫ

Мамат легко одолел холмы и вышел на проселок. Горизонт впереди побледнел; холодный, медный, лишенный сияния диск осеннего солнца уже показал краешек, но в утреннем холоде земля затвердела, тянуло пронизывающим ветерком. Когда солнце поднимется выше, потеплеет, конечно, — недаром воздух так чист, а на ветках тутовника поблескивает серебристая патуина.

Сегодня надо пройти как можно больше: он сыт, обут, отдохнул, день хороший. А главное — он доволен собой. Лишь бы удача не отвернулась. Еда пока что есть, надо обходить кишлаки, сторониться больших дорог. Ясно, людей больше хороших, чем плохих, но рисковать глупо. Придет время — и Мамат обзаведется кучей друзей, не будет шарахаться от встречных, досыта поговорит и повеселится, а пока что — в Симе ждут его триста сирот! Он несет им избавление, они же оставят его, оплатят верной дружбой...

Весь день он шагал в одиночестве, выбирал полевые тропки, где пахло клевером; на пастбищах ласкал жеребят за холки; жевал куски лепешки, намочив в холодной родниковой воде; в пожелтевшей тутовой роще перемотал портянки, передохнул, даже подремал немного в безлюдных зарослях. Но без людей тоскливо — тяжко, если не с кем перекинуться хоть словом!.. Когда в сумерках у подножия дальнего холма замигал огонек, Мамат обрадовался. Это костер подпасков! Точно, точно... Осенью, когда стадо возвращается, ребята, оказавшись в ночном, разводят большой костер, закапывают в угли овощи, чтоб испеклись, пьют кобылье молоко, ведут рассказы о девушках, вспоминают байки о волках...

Так и оказалось — подпаски. Когда Мамат подошел, он услышал треск огня, хруст сухой травы под копытами стреноженных лошадей; но подпасков было всего двое: один сидел на пятках, опершись на колени, другой лежал на боку, на темных лицах играли отблески пламени: кобыльим молоком и не пахло, и разговоры были не о девушках... Один из подростков, чуть старше Мамата, тот, что лежал на боку, сбегал на ближний, осенний, перекопанный огород, принес свеклу, закопал в золу. С виду невзрачный, уши торчат, лицо все в угрях, зато умное и серьезное. Второй — помоложе — был худ до невозможности, вспылчив и зол. Узнав, куда Мамат держит путь, он сказал злорадно, с усмешечкой:

— Гляди-ка, на поезд захотел... Умора! Ты разве не слышал, что поезд сожгли?.. Так что возвращайся домой, малый!

— Не поезд, а станция сгорела,— возражал старший.— Поезд из железа, разве железо горит?

— Гори-ит!.. Три дня и три ночи горело, дым, говорят, до Оша дошел!

— Это вагоны сгорели, дома на станции, понял? А железо не горит. И путь для поезда — тоже из железа, сам видел. Что ему огонь?.. Иди, браток, иди, если доля твоя — там, уж как-нибудь доберешься. Только ночами, смотри, по улицам не расхаживай! Кто бродит по Джелалабаду ночью, тех всех хватают...

— Там что, басмачи есть?

— Не басмачи, а маstrapы.

— А это кто такие?

— Да все они одно, хрен редьки не слаще!

Но старший объяснил терпеливо:

— Это казаки-солдаты. Одеты хорошо, на конях, говорят тебе «здрaсти-пожалиска», а детишек, оказывается, на пики сажают. Тете Халдар отрезали груди как матери красноармейца... так и померла, бедняжка...

— Сам видел?— спросил Мамат.

— Правда это! Хотя сам не видел. Когда они в нашем кишлаке появились, их красные прогнали, но, говорят, они опять вернулись.

— Что ж будете делать?

— Ну, бабушка будет дома сидеть, старая она, я с конем за холмами... как-нибудь пробуду, пока не уберутся... А вот Эргашу худо. Отец его ушел, в Красную гвардию записался. Теперь Эргаша с матерью прятать надо, вот мы о чем думаем. А откуда ты пришел — там спокойно?

Мамат подумал.

— Спокойно,— сказал он наконец.— Вот что... я там в одном доме пень корчевал...— И он стал подробно рассказывать, как найти дорогу к дому старухи.— Скажете, от Мамата... он, мол просил...— Он искоса глянул на Эргаша: не будет ли заглядываться на Заррагуль?

Тут и свекла испеклась. Эргаш достал нож, счистил кожуру, нарезал свеклу ломтиками, положил на циновку; потом облизал покрасневшие пальцы, вытер нож о мешок и сунул в ножны. Мамат наблюдал за ним с интересом, во всем, что тот делал, чувствовалась сноровка. Мамат достал лепешку и щедро ее разломал. Ребятам это понравилось. Они ему тоже понравились. Молча поели. Костер догорал, кони ржали. Ребята растянулись у костра, а Мамат, узнавший для себя столько важного, стал прикидывать, что да как — и вдруг ему стало страшно. Так страшно, что даже во рту кисло сделалось и пропал сладкий вкус свеклы. Но что ему

делать? Возвратиться не может, выбора нет. Остается только дальше идти да быть поосторожней. Он посмотрел на заснувших подпасков: они по крайней мере знают, что им делать, могут все обдумать заранее. А он...

Он еще немного посушил над затухающим костром снятые портянки, обулся. На востоке светлело. Переметная сума отяжелела от инея, он встряхнул ее, надел на плечо и тихонько пустился в дорогу.

Тропинка для скота, которой он шел, петляла по-над оврагами, по кукурузным полям, наконец вывела к проселку. Арбы истолкли пыль в тончайший порошок, она доходила до щиколоток, летела в ноздри. Даже ночная сырость не могла ее усмирить.

Вскоре вдали показали купы деревьев, одинокие шалаши и усадьбы. Когда встало солнце, вдаль, по соседней большой дороге, проскакали какие-то всадники, и Мамат с тревогой глядел на оставляемое ими пыльное облако. Несло запахом гари: так пахнет, когда загорится кошма или хлеб. Наверняка впереди городок или большой кишлак. Неизвестно, правда, в чьих он руках!.. Но как найти обходную дорогу?.. Только подойдя ближе.

И впрямь, когда солнце уже клонилось к западу, Мамат увидел с холма городок. Он раскинулся широко и упирался в горизонт. Чтобы его обойти, надо было сначала вернуться обратно, до ночи не успеешь. Городок был какой-то голый, почти без деревьев, низенькие домики стояли редко и беспорядочно, безлюдные улицы и площади пылились на солнце. Мамат пошел огородами и вскоре вышел на окраинную улицу. Тихий пустой перекресток, в тени двух акаций разбитые сури с небурными листьями внизу, у сломанной мельницы журчит арык. Мамату хотелось пить, но к арыку он спускаться не стал — лучше побыстрее миновать открытое место: было слышно, как по дальней улице проскакал всадник. Топот, казалось, разносился по всему городку. Когда он смолк, Мамат в тени дувала перешел на другую улицу. Снова стояла тишина, но какая-то особенная, наводившая панику: казалось, в самой сердцеvine ее таится источник страха. Мамат пошел было по улице вперед, потом вернулся, снова пошел в прежнем направлении, скользнул в первый попавшийся переулок... Он попытался сказать себе, что так нельзя, если кто-нибудь его увидит — что подумает?.. Но взять себя в руки не мог, паника была сильнее его.

Он опять шел вдоль дувала узкой улочки, когда впереди, за углом, ему слышались голоса. Каждый звук доносился четко, как выстрел, и заставлял тело вздрагивать. Вдруг он увидел: через перекресток впереди движется конник (не тот ли, что скакал недавно?), а за ним пятеро солдат гонят толпу ребятишек в лохмотьях. Мамат прижался к дувалу. Шапки с зелеными полосами... кавалерийские сапоги... казаки! Это они и есть, мастрасы, о которых говорил Эргаш! Но дети-то, дети что могли натворить? Неужели все это воришки?.. Во всяком случае, отсюда надо убираться подальше.

Он пустился назад по пыльному лабиринту, уже окончательно потеряв представление, где находится и куда можно выйти. Пройдя десятка два шагов по какой-то очередной улочке, свернул и очутился на голой площади. Мамат даже не успел сообразить, что именно ее видел с холма; одновременно с ним из другого переулка вывалилась погоняемая казаками толпа ребятишек. Из третьей улочки в нее влилась еще одна. Дети сбивались в тесную кучу перед деревянным заграждением — большие и меньшие, босые, грязные, чесоточные. Наверняка их собрали отовсюду — с улиц и базара, из развалин, бань, хумданов... Может, собираются отправить в приют? Или... Додумать ему не дали, за спиной неожиданно раздался топот, он обернулся — красивый офицер с усами цвета латуни на огромной лошади нависал над ним. Миг — и, схватив Мамата за ухо, дернул так, что солнце померкло, мир погрузился во тьму — и рассыпался каскадом искр...

11. БАНЯ

Совсем близко от себя он видит офицера: прядь волос выбивается из-под фуражки, усы отливают латунью, белые зубы сверкают, когда он приоткрывает рот в усмешке, пахнет потом и табаком. Нет, Мамат не теряет сознания, вот сейчас даже посветлело перед глазами, только ноги как-то заплетаются, это оттого, что он не видит, куда их ставит. Как ухо болит! — нет, это уже не ухо — вся левая половина головы, вся голова горит, распухает, как огромный нарыв. Куда еговедут? Не все ли равно, лишь бы скорей... Он пробовал вырваться, но этот мастрас шутки не шутит, он может ухо с корнем вырвать. «Детей сажают на пики... груди у тети Халдар...» Кто это говорил?.. А-а, Эргаш...

Мамата мутит от запаха седла, что скрипит рядом. Похоже, сейчас он все-таки потеряет сознание... что ж тогда будет? Надо сделать что-нибудь, но что?.. Собрав последние усилия, он вцепляется обеими руками в обшлаг офицерской гимнастерки, на мгновение повисает в воздухе, как бы для того, чтобы облегчить боль в ухе — и, как-то изловчившись, кусает волосатую веснушчатую руку! Вскрик, сильный удар, он летит на землю, мокрую от конской мочи, ударяется боком... Первая мысль: ухо осталось в руке усатого! Нет, вот оно, горящее, распухшее. А сума? Где переметная сума?!.. Да и она здесь, рядом с ним, он на нее и свалился.

Рот у него полон пыли, он и сам весь в пыли, один сапог почти слетел с ноги. Он поднимает глаза: толпа ребят, которую он видел издали, окружила его и хихикает. Значит, это офицер так пнул его, что Мамат отлетел к загнанной в загородку толпе! Удивительно, как это сума уцелела... За деревянной загородкой прохаживаются несколько солдат с винтовками, всадников нет, усатого тоже не видно. Но Мамат его вовек не забудет. «И он меня тоже, — с удовлетворением думает Мамат. — Здорово я его укусил...»

Ребята, поглядев на него и посмеявшись, расходятся, а он исподтишка разглядывает их: рваная одежда, ноги, обмотанные расползающимся тряпьем, обутые в старые калоши, непарные чарыки; лица сопливые, грязные (сейчас и у него не лучше!), рябые, с кривыми выступающими зубами... Непонятно только, почему они так равнодушно воспринимают все это? Они — ровесники Мамата или моложе, их набралось уже человек сто, вон даже строятся в очередь вдоль дувала, толкаются, препираются, обмениваются тумачками, галдят, меняются какой-то мелочью, тут же, у дувала, мочатся...

Перед Маматом останавливается подросток с болячками на голове, смотрит на Мамата не то с интересом, не то с недоумением и спрашивает наконец:

— Чего ж ты его укусил?.. Для твоей же пользы... Подумаешь, искупаешься в бане...

— В бане?! — говорит Мамат, не веря свои ушам. Впрочем, не верить левому своему уху он никак не может: горит, мучит, проклятое. Но то, что сказал этот, с болячками, прямо-таки откровение. Значит, всего-навсего баня... — Что ж, вы в баню в очереди стоите?

Кто-то из стоявших поблизости засмеялся. Мамат не понял почему. Подросток с болячками пожал плечами и отошел. Перед Маматом остановился длинный парнишка с крючковатым носом, в какой-то необычайно засаленной тубетейке — такой грязной Мамат и не видел никогда. Длинный оглядел Мамата спокойно, по-хозяйски, оценивающим взглядом.

— Елки-палки! — сказал он. — Да у тебя ухо — как подстилка!

Сбоку снова засмеялись. Длинный прекратил смех одним взглядом. Мамат пощупал ухо: оно опухло, стало как маленькая сдобная лепешка и на каждое прикосновение отзывалось острой болью. Он скривился.

— Что, правда... нас в баню?.. — спросил он Длинного. Похоже, на его слова можно положиться.

— А как же — правда, — Длинный усмехнулся. — Что, в бане никогда не был?

Подбежал маленький пацан в огромных калошах.

— Смотри! — закричал он. — Ухо уже как свекла стало!

В толпе подхватили:

— Скоро будет как головешка!

— Как арбуз!..

— А в бане — лопнет! Ха-ха!

Длинный опять глянул — выкрики разом смолкли. Главный он тут у них, что ли?

— А зачем тогда... солдаты... насильно? — спросил Мамат.

Длинный презрительно глянул на толпу мальчишек:

— Ха! Если их насильно не заставить, в жизни не помоются!

Тут подал голос подросток с болячками:

— Это не простая баня! Вши, гниды, зараза — все сгорит...

— Зараза?

— Да ты что, не знаешь — в городе мор? Откуда ты свалился?

— Разве болезни в бане лечат?

— Э, темный какой!.. Это такая баня, что сперва, тебе волосы наголо снимут. Всю одежду в огонь побросают...

— Всю одежду? В огонь? А как же потом?..

— Слушай его больше, — лениво сказал Длинный. — Одежду не в огонь бросают, а только жарят... на жару или на пару...

— Это как?

— Внутри железного сундука.

— А потом?

— Все.

Мамат все еще не понимал. Зачем солдатам чистота этого рванья?

— А потом,— сказал он,— наденем свое тряпье и можно уходить?

— Елки-палки!— Длинный потерял терпение.— Да можешь катиться на все четыре стороны!.. Дез-ин-фек-са называется. Карантин! Не слыхал никогда?.. Тиф в городе, понял? Что, из-за твоего вонючего халата да рваного мешка казаки помирать должны? Елки-палки, тупой какой! Или ты раньше только с козами разговаривал?

В толпе прозвучали осторожные смешки.

Дело-то паршивое, думал Мамат. Неужели так и кончится моя дорога?.. Он пытался придумать какой-нибудь выход и не мог. Мысли его путались, дрожь начала бить. Никогда он еще так не боялся.

— Э!— сказал подросток с болячками и снова подошел.— Да ты ж весь мокрый...— Он присел перед Маматом на корточки и зашептал:— Если у тебя тиф, не показывай, что дрожишь, понял?.. А то солдаты уведут. А кого уводят, не возвращаются...

Мамат кивнул. Никакого тифа нет, думал он, просто мне страшно. И выхода не видать. Он глянул на солдат. С этой стороны не пройти, много их. Позади дувал — высокий, без дыр. Был бы еще вечер... Одна дорога отсюда — в баню, но войти туда — значит отдать ящичек собственными руками. Да работай же, голова! Не хочет, болит. Проклятый офицер... Ну-ка, ну-ка! Та-ак, пускают в баню только по шесть человек. Время, значит, еще есть... Одному, конечно, здесь ничего не сделать. Надо напарника найти. Но кому из этих можно раскрыть тайну? Одни наверняка воришки, другие — сопляки, третьи струсят... Даже начинать разговор опасно...

— Послушай,— сказал Мамат подростку с болячками,— а мы... мы сами будем сбрасывать одежду в этот... железный сундук?

Длинный вмешался:

— Не сундук, а камера! Из дивизиона привезли. Тебя к ней даже близко не подпустят... У тебя еда ка-

кая-нибудь есть? Обнимаешься со своей сумой, небось жратвы полна, а?

У Мамата оставалось два сбереженных куска лепешки — он их тотчас отдал, чтобы замять разговор о содержимом сумы.

— Эй,— сказал он Длинному, уплетавшему его лепешку,— откуда русские слова знаешь?

Длинный самодовольно ощерился:

— У казаков выучился!.. Они уж тут один раз были — ну, когда город горел... А, ты не отсюда. Ну, я тогда с одним фельдфебелем подружился. Каждый день к нему приходил — он мне коня доверял, а я садился верхом и купал конягу в Узгенсае. У, весь круп блестел как лаковый!.. А через четыре месяца красные пришли, казаки и убрались восвояси.

— А где сейчас тот?..

— Кто?

— Ну... фибил!

— «Фельдфебель» надо говорить! Теперь тут другие какие-то. Иначе я б тут разве с вами сидел, елки-палки!— И Длинный смачно плюнул сквозь зубы.

Нет, этот не подойдет, думал Мамат, этот продаст. Коня его купал, «елка-палка». Он твой город поджег, а ты ему коня купал. Может, и плевать сквозь зубы у него выучился?.. А не он — так кто?.. Этот, с болячками? Парень вроде добрый, да уж больно хилый. И робок. Остальные — у них всех вид такой жалкий, больной, а тут надо напарника крепкого, жилистого, а главное, понятливого, попройдошистей... Один тут такой — Длинный. И главное — роста он подходящего. Время-то бежит, группы по шесть человек одна за другой входят в баню, глядишь, и ему, Мамату, срок выйдет. Вечер уже на носу.

— Слушай-ка,— сказал Мамат Длинному, дремавшему рядом.— Ты, часом, не трус?

Длинный сразу проснулся.

— Что-о?— спросил он грозно. Но по выражению Маматова лица понял, видно, что за вопросом кроется какое-то дело.— Чего надо-то?

— Тайну умеешь хранить?— Мамат понизил голос.

— Могила!— с готовностью сказал Длинный.— Хочешь, землю съем?

— Да нет, не надо. Я не насчет воровства, не думай. Тут другое дело. Эту вот переметную суму надо отсюда вынести. Чтоб в баню не вносить...

Длинный даже рот разинул от удивления. Вытягивая тонкую шею, он огляделся вокруг.

— Ка-ак?— спросил он наконец.

— Сперва в баню я пойду, а суму тебе оставлю. Отойдешь в сторонку, удержишься. А я, как выйду из бани, заквакаю за дувалом по-лягушачьи. Понял?.. Уже темнеть будет! Как услышишь кваканье, переброшишь через дувал. Ну, идет?

Длинный насупил брови и уставился сперва на Мамата, а после на суму. Взгляд у него был такой, что Мамат понял: не надо было доверяться! Его даже дрожь пробила.

— Елки-палки!— сказал Длинный.— А в ней что такое?— И он ухватился за суму.

Мамат резко отвел руку. Длинный почувствовал, что Мамат сильнее, и ослабил напор.

— А мне-то что отломится?— спросил он.

— Тише ты... Сапоги отдам. Вот, видишь? Хорошие еще сапоги, не старые! Вытрешь пыль — и заблестят.

При виде сапог взор Длинного умаслился. Но тайна переметной сумы покоя ему не давала. Он боялся прогадать. Потом, должно быть, сообразил: суму-то ему доверят, если он согласится! Он же с ней наедине останется. Мамат так и прочел эту мысль в его заблестевших глазах. Ну и промах!

— Эй, Длинный, согласен, что ли?— спросил он как можно равнодушнее.

Но и Длинный решил продолжить игру:

— Не скажешь, что там — не стану рисковать!

Отступать было некуда.

— Ясно что — золото!— сказал Мамат спокойно.

Длинный ухмыльнулся.

— Ври больше!— сказал он, толкнув Мамата в плечо. Поднялся и отошел шага на три. Потом остановился, обернулся.

Мамат, собрав все силы, чтобы унять дрожь, глядел на него так же спокойно и равнодушно. Длинный не выдержал, вернулся, снова присел на корточки.

— Давай правду говори! Чего у тебя там?..

Мамат поманил его пальцем, сунул руку в суму, нащупал застежку ящика, покопался в нем и, не вытаскивая руки, показал Длинному какую-то вещицу, зацепившуюся за пальцы. Цыганские серьги блеснули — и пропали... Мальчики воровато оглянулись по сторонам, стараясь сделать безразличный вид. Вроде никто

ничего не заметил, очередь в лохмотьях стерегла мух, играла в ашички; скучающие солдаты курили самокрутки.

— Ну?— спросил Мамат тихонько, глядя по сторонам.

Длинный, тоже не глядя, ответил хриплым шепотом:

— Чего — ну? Тебе — золото, а мне — старые сапоги?..

Они замолчали, выжидая оба. Длинный не уходит, думал Мамат. И куда ему уходить? Сидит. На крючке.

— Так что скажешь?

— Отдашь т о!— сказал Длинный.

Хитрый, гадина. А я ведь тоже на крючке, думал Мамат. Мне от него не отцепиться теперь. Да и цыганские серьги эти проклятые на базаре чуть было уже не уплыли. Такая, видно, судьба у них воровская. Если бог даст уйти отсюда целым и ящик спасти, этой своей глупости до смерти не забуду.

— Ладно,— сказал Мамат. Он думал, в глазах Длинного вспыхнет торжество,— ничего подобного. Видно, аппетит разыгрался: мало ему уже этих серег.

Длинный вдруг поднялся, бросил шепотом: «Сиди и не шевелись!»— и ушел. Куда это он? И что задумал? Лишь бы беду за собой не привел... Чаша терпения Мамата переполнилась, он уже готов был кинуться сквозь строй солдат. Ясно ведь, это верная гибель, но что делать?..

Длинный возвратился через полчаса, усталый. Мамат поглядел ему в глаза: в них читалось чувство явно-го превосходства. У, пройдоха!

— Порядок!— сказал Длинный.— Пошли...— И, ухватив Мамата за рукав, повел его вдоль дувала. Старый дувал, сложенный, из пахсы, кирпича, камней, глины, был высокий и ветхий, от нижней части несло вонюю. Длинный довел Мамата до конца дувала и потащил обратно, к прежнему месту:

— Ну? Пробоину под дувалом видел?

— Пробоину?..— Там была не пробоина, а русло старого арыка, проходившее под дувалом и теперь почти доверху забитое глиной. В него не пролезла бы и крыса. Если он считает это пробоиной...— Ну видел,— сказал Мамат, помедлив.

— Я буду около нее сидеть, положив под себя суму. А ты, как выберешься из бани, начнешь с той стороны

вынимать глину, пока не доберешься до сумы. И вытащишь ее на ту сторону. Ясно?

— А ты?..

— Обо мне не беспокойся. Только вытащи суму — я тут же рядом окажусь.

Мамату все представлялось куда сложнее, он обрадовался простоте освобождения.

— Ну, подходит?— нетерпеливо спросил Длинный.

Мамат кивнул.

— Только одно условие...— Длинный положил руку на суму.— Что в ней есть, все делим пополам! Уразумел?

Мамат побледнел и замер, глядя в лицо Длинному. Цепкие глаза и крючковатый нос сделали его теперь похожим на хищную птицу. На стервятника.

— Ну и подлюга ты!— сказал Мамат, сплюнув. Он сперва не мог даже слов найти. Потом сказал:— Если я отдам половину вон тому усатому, он меня и так выпустит, и копать не придется!

Длинный захохотал.

— Ну, дурак!— сказал он.— Равных нет!.. Что ж, мастрап половиной будет доволен? Да он у тебя все заберет, да тебя ж и прикончит! Скажет — ты вор!

— Я не вор!

— Ну да, тебе это с неба свалилось...

Грубый голос рявкнул за спиной Мамата:

— Эй, вы-ы!— Солдат прикладом расталкивал задремавших ребят, которым подошла очередь идти в баню. Мамат оказывался в этой группе последним, шестым.

— Ладно, договорились...— сказал он Длинному с отчаянием в душе и побежал.

12. ХАЗРАТ ХЫЗР

Были уже густые сумерки, когда он вышел через задние двери бани — с наголо выбритой головой, в теплой, влажной, мерзко пахнувшей одежде. Убедившись, что кругом — никого, Мамат двинулся вдоль дувала, отыскал старое русло, присел на корточки и, опасливо озираясь, запустил пятерню в глину. Не обращая внимания на вонь, пот, снова, как в парилке, обливший его с ног до головы, ломая ногти, сдирая кожу, он выскреб окровавленной рукой почти весь этот годами собиравшийся вонючий затор. Но когда пальцы задели за пере-

метную суму, Мамат разом обмяк. Почти теряя сознание, напрягаясь из последних сил, он вытащил намокший мешок наружу и свалился рядом. Надо пощупать, на месте ли ящичек, тяжел ли, говорил он себе. Сейчас, отвечало обессилившее тело, потерпи малость, передохну...

Но тут послышался за стеной грубый окрик — похоже, того самого солдата, что расталкивал очередь:

— Сто-ой, долговязый!

— Елки-палки, пусти...— Это Длинный крикнул. Потом что-то упало с глухим тяжким стуком.

Мамат не успел даже осознать, что случилось, — страх подстегнул его, как кнут выдохшуюся кобылу: он встрепенулся, обхватил суму, вскочил и метнулся в темный кустарник, несколько секунд постоял там, затаившись и прислушиваясь, потом побежал дальше, не разбирая пути; его дыхание и хруст веток под ногами были, казалось Мамату, слышны на всю округу. Скоро он сбежал в какой-то овраг, а может, русло высохшей реки, из-под ног вывертывались и летели камни, он падал, поднимался, снова бежал: бегом, шагом, ползком — лишь бы уйти подальше.

Он решил, что будет бежать без остановки до самого рассвета! — но вскоре ноги увязли в болотной жиже, он упал и встать уже не смог. Видно, все вокруг, потревоженное звуками его шагов, затаилось: стояла мертвая тишина. Где он? Выбрался ли из города? Наверное, выбрался, а вокруг поля, не бывает в городе таких оврагов... Он стал думать о Длинном: поторопился, полез прямо через дувал — вот и попался. Побоялся упустить его, Мамата, — долю свою упустить. Ненасытная душа!.. А может, его убили?.. При мысли об этом отвратная холодная слабость поползла у Мамата по низу живота. А ведь сам он виноват, жадюга. Говорят же — коль бог даст верблюжий рост, так дал бы еще и ума на вершок!

Передохнув, Мамат еле-еле выбрался из вязкой грязи, сапоги, перемазанные красной глиной, снял и повесил через плечо, поверх переметной сумы. Рассвет забрезжил — и только тут Мамат понял, что идет вдоль тихой речушки. Спустя недолгое время она вывела его к сильному, мерно шумящему потоку. На влажной береговой террасе и теперь, поздней осенью, оставалась зеленая трава, она сладко холодила горящие

ступни, а вид прозрачных струй пробудил в Мамате за- таенную жажду.

Ох, до чего ж сладкая была вода! Слаще роднико- вой на пастбище... Мамат лежал на берегу, припав гу- бами к краешку потока, и все никак не мог напиться досыта. Заломило зубы. Мамат приподнялся на руках. На торчащий у берега красноватый камень села сини- ца. Не пугаясь его взгляда, она передвинулась на то- нюсеньких ножках к самой воде, зачерпнула клювиком, подняла головку, проглотила, снова зачерпнула... «Вкусно, а?» — сказал ей Мамат, улыбаясь. Она пока- чалась, издала тоненький утвердительный звук и улетела.

Мамат вдруг остро ощутил все это — пронзительно- ласковую свежесть утра, небо над собой, чистое, голу- бое, как вода в речке, вспорхнувшую синицу; усталость ночного бегства сменилась мгновенной и удивительной легкостью: захоти — и сам взлетишь, как эта птичка- невеличка! Тишина казалась звенящей. Он наставил уши, словно собака: что это звенит — жаворонок? Пчела? Или просто в ушах звон стоит?.. В мозгу у него вдруг возникла такая же тонкая, нескончаемо печаль- ная и милая мелодия Заррагуль. Бровки — как лепест- ки камыша... глаза сияют, как... нет, и не скажешь, как...

Тут слух Мамата уловил новый звук: словно кто на каблучках мелко-мелко ступал по камешкам. Тем бере- гом речки ехал человек на ишаке. Мамат сперва увидел фигуру всадника: старик — белая чалма, белый халат, белая борода. Мамат почему-то ничуть не испугался, не стал прятаться, а устоял как замороженный. На пастбище частенько рассказывали о святом Хызре — покровителе путников и пастухов: он-де в белой одежде и бороде, а кому встретится, у того исполнятся все меч- ты. А вдруг... вдруг это и есть хазрат Хызр?!.. У Мама- та даже сердце захолонуло. Старик и впрямь был весь призрачно-белый, как рассвет. «Помоги, хазрат-бо- бо», — взмолился Мамат мысленно и тут же вообразил, как вручает золото в приюте и, освободившись от не- сносного груза, отправляется навестить Заррагуль. По- гладит косички и скажет ей... Нет, сперва надо ее луч- шему лекарю показать, как обещал! А для этого деньги нужны... одежда городская... Это ж еще заработать надо. Тут он почему-то вспомнил учителя-ногайца: тот

поможет! Обязательно поможет, ведь ради них Мамат и терпит все эти мучения...

Старик тем временем приблизился. Увы, это был никакой не Хызр, Мамат понял сразу: ишак у старика не белый, как полагалось, а серый, обычный старый усталый ишак. Да и старик не парил над ним, а поторапливал, упираясь голыми пятками в стремяна и держа в руках поношенные кавуши. Но радостное возбуждение Мамата не угасло. И пусть он не Хызр — даже лучше: живой человек!

— Ассалам алейкум, ота! — крикнул он через речку.

— Ваалейкум ассалам, о сын своего отца! — певуче и ласково отозвался старик, погоняя ишака.

— Далеко ли до огненной арбы, ота?

— А-а... — сказал старик. — Тут уже близко. Во-он там — пройдешь мост Кугарт, потом сверни налево — к полудню, бог даст, дойдешь!..

— Спасибо, бобо!

Он чуть было не сказал «хазрат-бобо». Самому смешно стало. А ведь и впрямь желанье Маматово почти исполнилось: огненная арба — рядом! Он не только спасся от беды, но и путь выбрал правильный... Так что старик ничуть не хуже самого Хызра... Мамат вымыл в реке сапоги, сам вымылся, намотал портянки, обулся и двинулся в путь. И действительно: едва перешел мост — за холмами, изрезанными путаницей желто-серых дорог и застывшими, как волны огромного моря, показалась вдаль «истанса». Ее голубой домик под красной крышей стоял как на ладони — ни с чем его не спутаешь.

Мамат шел, то держа его в виду, то теряя из виду — пока наконец не вышел прямо к железному пути. Он сперва и сам себе не поверил — чтобы убедиться, потрогал рукой толстенный блестящий рельс и, прыгая по темным шпалам, побежал к станции. В нос ему ударил запах гари, но теперь в этом запахе была не опасность, а сладость надежды и обретения. Он вдруг ощутил, что голоден донельзя: со вчерашнего дня во рту — ни крошки!

Но на подходе к станции, на путях и около, валялись разбитые красные вагоны, никого вокруг, только черные осенние мухи гудели над мусором. Мамат замер, растерянно осматриваясь, и тут на него наткнулся человек в промасленной одежде и шапке с блестящим козырь-

ком. Человек нес ведро мазута; он опустил ведро на землю и устоялся на Мамата.

— Ты кто такой?— спросил он.

— Я... я на огненную арбу пришел...

— А, на поезд... нету поезда. Опоздал ты, сынок, малость опоздал. Сожгли. Все сожгли мастрасы... Во-он...

Он показал рукой. Вблизи аккуратное голубое здание станции оказалось все в пятнах копоти, стекла окон выбиты, дверные проемы зияют, как разинутые рты. Значит, правду говорили подпаски, вспомнил Мамат. Что же теперь? Разве хватит у него сил идти и дальше с этим грузом?.. Он опустил голову и повернул было назад.

— Эй!— сказал человек. Мамат оглянулся с безнадёжным видом.— Тебе куда ехать-то?

— Мне?.. В Сим...

— В Си-им... Ну так потерпи, сынок, потерпи немного. Дня через три... или четыре... поезд, может, и будет...

Показалось это Мамату или нет — в словах человека помимо их прямого смысла прозвучало еще какое-то неясное, таинственное обещание...

— Дядя,— сказал Мамат.— А вы кто?

— Я-то?— Человек усмехнулся.— Я-то стрелочник... А ты подожди, прикутись где-нибудь. Придешь дня через три...

Итак, надо сперва припрятать свой груз где-нибудь понадежней, а там и впрямь побродить по округе до поезда, может, у кого работа найдется, а глядишь, кто и так накормит. Обойдя полусожженную станцию, Мамат оказался в поселке. Редкие домишки, утопавшие в кустарниках, перемежались поросшими колючкой пустырями. Небо между тем заволокло; разом и потемнело и похолодало, хотя до вечера было долго еще. На пустырьке Мамат неожиданно споткнулся о черный холмик. Могила... Спаси аллах, не на кладбище ли он забрел?.. Нет, вроде других могил не видно. Он почувствовал: ноги больше не держат. Опустив наземь суму, он и сам, как мешок, повалился на землю. Что теперь делать? Куда идти? Уснешь тут у могилы — нечистые тобой завладеют... Он коснулся ногой холмика — рыхлая земля подалась. Тут ему мысль в голову пришла. Он осмотрелся. Место легко было запомнить. Он быстро отрыл руками ямку в могильной насыпи, уложил туда

суму с ящиком, присыпал сверху и завалил хворостом. Потом встал, снова оглянулся, старательно вбирая памятью приметы. И вдруг ему стало легко и свободно, точно тяжкое бремя сбросил. Его драгоценный груз отлично пролежит тут три или четыре дня — на эту заброшенную могилу и ворона не сядет!.. Мамат двинулся назад, в сторону железной дороги. Ого, оттуда потянуло аппетитным дымком!

Дымили не то перевернутые вагоны, не то горки какие-то возле них. Где-то у вагона копошились человеческие фигуры. Что ж, людей теперь можно не опасаться!.. Пахло хлебом. Он встал на одну из горок — тепло. Наклонился, разрыл поверхность, взял в руку горячую горсть — так и есть, пшеница! Горящая пшеница! Она жгла пальцы и ладони, но Мамат поднес ее ко рту, попробовал. Вот повезло! Он стал жадно жевать, запихивая в рот горсточки и выплевывая совсем сгоревшие зерна. Ну, теперь голодным он не останется... Он так жадно насыщался, что почувствовал в животе тяжесть с непривычки. Слез с горки — и вдруг, неожиданно для самого себя, заплакал. Хлеб горит! Хлеб! Надо же...

— Эй, чего плачешь?

Мамат обернулся и едва разглядел в тени вагона подростка в лохмотьях. Подросток был примерно его роста и возраста.

— Иди-ка сюда, — позвал подросток, — сейчас дождь будет!..

Мамат пошел — и тут увидел лицо парня: оно было все черное.

— Эй, ты что, шайтан?

— Сам ты шайтан!

— Ты весь в саже.

— А ты не в саже?

Мамат взглянул на свои руки: они были черные от горелой пшеницы. Значит, и лицо все измазал, когда слезы вытирал!.. Он засмеялся, подросток тоже. Они стали хохотать, хватаясь за животы и показывая друг на друга пальцем. Отсмеявшись, Мамат почувствовал, что и на душе стало легче и в животе как бы свободней.

— Не будет дождя — пошли собирать пшеницу! — предложил он.

— Э, — сказал подросток, — чего там собирать! В вагонах негорелое зерно есть, только еще загорается! Печеное, вкусное! Все ребята там сегодня!

— Какие это ребята?

— Да наши! Все свои. Ты с какой станции? Сейчас сюда отовсюду пришлепывают. И на следующей станции вагоны с зерном есть, да керосином пахнут. Облили, когда поджигали! А наше и так горит, само...

— Да кто поджигал?!...

— Кто? Ты с луны свалился, что ли? Мастрасы! Чтобы большевики в Сим не увезли...

— Г-гады!— сказал Мамат. Комок у него снова подступил к горлу. Он вытер пот.

— Пошли!— сказал подросток.— Я тебе вагон покажу...

Они зашагали. Дождь собирался, но все не шел, и пока они добрались до последнего вагона, край неба чуть посветлел.

— Нам бы,— сказал подросток,— и одного вагона хватило — зачем все поджигать!— Он был тощий, с тонкой шеей, только живот у него странно выпирал. Мамат, видно, ему понравился: он стал подражать его походке.

— Ну да,— буркнул Мамат.— Можно подумать, они нарочно для вас старались, зерно жарили...— Он вгляделся в то, что чернело впереди.— У-у-у, гады!..— повторил он.

Пшеница, высыпавшаяся из последнего вагона, только начала гореть с краю. Еще можно запросто потушить, отметил Мамат про себя. На куче копошились шестеро мальчишек в лохмотьях и тоже с черными, в саже, лицами. Они обернулись на шаги. В Мамате что-то вдруг раскалилось, как железка на огне.

— Ну!— сказал он.— Жрете? Жрать жрете, а пшеница пускай горит?.. Это же хлеб! Его люди растили.. для людей!

Один из мальчишек сказал равнодушно:

— А что мы сделаем? Все равно сгорит...

— Значит, налопаются — и сбежите?— Он замахнулся, ответивший мальчишка отскочил. Они все были, пожалуй, младше Мамата и сложеньем явно пожиже.— А ну! Давай откидывай ту, что горит! Живо! Давай, давай, руками, ногами! Доски берите! Слышали?! Давай!!!

И Мамат кинулся отбрасывать в сторону горящую пшеницу. Сперва руками: горсть, еще горсть. Еще горсть. Потом — сапогами. Потом он доску ухватил — кто-то подал. Краешками глаз он видел: остальные де-

лали то же. Даже, кажется, во вкус вошли — переговаривались оживленно:

— А рябой-то, оказывается, силач!..

— У-у... У него, наверно, поле свое — посеять хочет!

— Ха-ха... пока дождь не пошел!

— Вот бы пошел — сразу б сам все и потушил...

— А что толку тушить: зерно-то уже — ни для сева, ни для мельницы...

— Ладно, туши давай — хоть для еды сгодится!

— Сейчас бы водички...

Мамат выпрямился, хотел вытереть пот рукавом. Но кто-то его схватил за руку. Он дернул — держали сильно. Взрослый кто-то!.. Знакомый запах пота и табака ударил в нос. Мамат полуобернулся, увидел грубую руку, в пятнышках и со светлыми волосками... Поднял глаза: над ним, усмехаясь, стоял усатый красивый офицер.

13. НЕОЖИДААННЫЕ ВСТРЕЧИ

— Хороший баланчук... молодчик... Садись, садись! — говорил усатый, показывая на скамейку.

Сам он уселся на расшатанный стол в глубине помещения. Наверное, здесь раньше начальник станции сидел. На стене, справа от стола, висел большой пожелтевший лист с мелкими буквами. Скамейка, на которой уселся Мамат, поблескивала от пролитого мазута.

— Ну? — говорил офицер с выражением явного удовольствия на лице, которое и не думал скрывать. Он замешивал в свою речь узбекские и киргизские слова, а русские коверкал, очевидно, полагая, что так они станут понятней Мамату.

— Зачем твоя здесь гуляет, а?

Чего он так радуется, лихорадочно думал Мамат, неужели он меня узнал? Видел же только раз, и то больше со спины...

— Ну? — все так же доброжелательно говорил офицер. — Чего молчишь, баланчук, а? Такой хороши малшик — а молчишь! И где твой... как это... — он щелкнул пальцами, помогая себе вспомнить слово, — твой... хурджин? — И он взмахнул рукой, словно перебрасывая суму через плечо.

У Мамата екнуло сердце. Вот так!.. Выходит, не только запомнил, а и знает что-то! Знает, что в ящичке!.. Но откуда?! От Длинного!.. Откуда бы ни узнал, дрянь дело. Хотя... сумы с Маматом нет! Какой он молодец, что зарыл ее!

— Дядя, какой хурджин?— спросил Мамат самым невинным тоном, на какой был способен.

Офицер улыбнулся, и улыбка у него тоже была такая безобидная, ласковая.

— Хитрый Митрий!— сказал он и ткнул в сторону Мамата пальцем.— А ухо свое забыл? Балшой ухо — как у ишака. Забыл?..

— Я не Митрий,— сказал Мамат тем же тоном.— Я Мамат...

Офицер снова улыбнулся.

— Мамат, Мамат... Это хорошо, что ты Мамат... И в бане, значит, не был, да? В бане, в Благовещенске?..

Значит, этот городок называется «благовечес»... Запомнил-таки меня, мастрап проклятый...

— Не знаю, дядя...

— Не знаешь! Ну-с...— Офицер встал из-за стола, подошел к Мамату, закатал рукав. На его волосатой руке багровел след укуса.— И это не знаешь?

— Н-не зна-аю...

Мамат моргнуть не успел, как на него обрушилась страшнейшая затрещина. Он слетел на пол, и голова наполнилась гремящей болью. Офицер встал над ним.

— Поднимайся, поднимайся,— сказал он прежним ласковым голосом, точно затрещина исходила от кого угодно, только не от него.— Что ж попусту валяться... та-ак... садись на скамеечку... молодец баланчук... Ну, прояснилось в голове? Нет? Ничего не вспомнил?

Мамат отрицательно замотал головой.

— Ай-яй-яй! Упрямый какой! В точности как ишак. Видно, надо тебе и второе ухо подправить...

Он протянул было руку, но Мамат успел отдернуть голову.

— Не хо-очешь?!.. Удивительно: упрямство ишачье, а уши хочешь оставить человеческие... Или, может, ты все-таки вспомнил? Ухо... баня... хурджин... и как ты меня укусил...

Как же я забыл, что тяпнул его за руку, думал Мамат. То-то он меня запомнил... У-у-у, гад! Волосатый

гад!.. Все равно, нужно прикидываться простачком... У-у, гад! А хурджина век тебе не видать!

— Так где ж хурджин, а, баланчук? Оставил где-нибудь? Или продал? Или, не дай бог, подарил кому?.. Молчишь-таки?! Ну ладно, мы тебя еще разговорим.

Он пошел куда-то мимо Мамата, не глядя на него, — и вдруг, так же неожиданно, развернулся и залепил ему вторую затрещину, уже с другой стороны, но, пожалуй, еще потяжелей первой. Мамат опять полетел на пол и еле поднялся, плача от боли...

— Значит, не помнишь, не знаешь?

— Не зна-аю...

— Так, так...— Офицер подошел к разбитому окну и рывкнул:— Рядовой Юхнов, ко мне!

Мамату было видно, как зашевелились солдаты, сгрудившиеся под станционным колоколом, что висел на полусасохшей акации. Из группки выделился неуклюжий, сгорбленный под тяжестью винтовки мастрап и двинулся к дому. Несколько мгновений спустя он появился в комнате — немый, усталый, с безразличием в глазах.

— Поди-ка сюда, голубчик!— сказал офицер.— Вот этого упрямого барана запрешь... знаешь где?! И смотри в оба — а то он шустрая бестия!

Солдат медлительно отдал честь и кивнул Мамату: шагай, мол.

— Посидишь и все вспомнишь!— сказал офицер вдогонку.— А нет, у меня на тебя другая управа найдется!..

Мамата заперли в каменном здании с железными дверьми. Это был, понял Мамат, станционный склад — мастрапы приспособили его для чего-то вроде тюрьмы. Едва открыли выкрашенные красным двери, оттуда пахнуло затхлостью и высветились фанерные ящики вдоль стен да сено, которым был устлан цементный пол. Двери захлопнулись, и наступила полная темнота; хотя нет — слабый свет все же пробивался через зарешеченный люк под самым потолком. Прочная клетка...

Снаружи хлопнула задвижка, щелкнул замок. От ящиков пахло клеем, сургучом, вощеными шнурами. Что делать? Удрать отсюда, кажется, невозможно. Остается держаться прежнего: «Не знаю... не помню... не было...» То ли от сырости, то ли от страха Мамата вскоре дрожь пробрала. А что, если они так и уйдут, заперев склад?.. Ничего себе судьба — стать кормом

для крыс в этом каменном гробу!.. Он попытался отогнать такие мысли и стал осматриваться в темноте — блага глаза понемногу привыкали. О! Что-то звякнуло! Крыса?.. Нет... похоже, кто-то дышит... Человек?!

— Кто... кто там?— спросил Мамат приглушенно. И в то же мгновение увидел пошевелившуюся человеческую фигуру. Человек, кажется, сидел в темном углу, куда не доставал слабый свет их люка. Может, прикован? Мамата вдруг обьял ужас. Человек ли это? Или нечистый?.. Одолевая страх, мальчик пристально всматривался. Да он же на коленях стоит, лицом к восходу — ясно, молитву читает! И Мамату показалось, что он слышит шепот, слабый, как вздохи. Подумать только: или вера его столь велика, или сердце у него орлиное: в эдаком пропащем месте, один, во тьме — и не оторвался от молитвы, не отозвался на появление человека. Но как он попал сюда, в маstrapовскую тюрьму? Что им нужно от старика?.. Мамат готов был поклясться: молящийся — старик...

И тут темная фигура, как показалось Мамату, коснулась подбородком правого плеча, и тишайший, как слабый ветерок, но знакомый голос произнес: «Вораматулло!» Аллах спаси и помилуй... Этого не может быть... ему чудится, или он спит, или с ума сошел... Ну, пусть с ума сошел, но фигура в углу — его хозяин, бай-бобо, Салим-чорва!..

Мысли Мамата перепутались. Он пытался успокоить себя, понять, что это может значить. Ищут его хурджин, то есть шкатулку с драгоценностями... Это мог искать и Салим-бай, но он — в той же тюрьме, что и Мамат... Да нет, думать попусту, этот узел не распутаешь, его шайтан затянул!.. Ведь бай понятия не имел, что ящичек у него... А маstrapы понятия не имели о бае, и никто понятия не имеет, где спрятана сума... никто, кроме Мамата!

Он снова, напрягая глаза, стал вглядываться в фигуру молившегося. Кажется, бай-бобо в одежде паломника: на голове остроконечная шапка, на плечах — халат. Что бы там ни было, надо с ним поговорить, узнать, что тут происходит... Шелестя сеном, Мамат двинулся было в его сторону, но тут как раз звякнул замок, загремела задвижка, дверь распахнулась — и показался неуклюжий давешний конвоир Мамата.

— Эй, щенок, — позвал он лениво, — подь сюда! На выход!

Мамат удивился: снаружи — день! Конвоир шел сзади, слегка подталкивая.

— Ну,— спросил он вдруг,— с муллой познакомился?

— С муллой?

— Ну, с этим лазутчиком!..

Какой мулла, какой лазутчик? Это же он о Салимбае говорит! Выходит, то, что старый хозяин здесь оказался, с ящичком не связано?.. Но он не успел еще придумать, что ответить конвоиру, как его потрясла новая неожиданная встреча: у дверей комнаты, где его допрашивал усатый, стоял — кто бы вы думали? — Длинный, собственной персоной!

— Елки-палки,— сказал Длинный, по обыкновению ощерясь,— ты и вправду здесь?

— Здесь...— пробормотал Мамат. Он не знал, как теперь себя вести.

Но Длинный сказал, как само собою разумеющееся:

— Ясно, куда мы с тобой убежать могли!.. Я вот ногу сломал...— И он показал на свою перевязанную левую ногу.

Усатый ждал в комнате. Солдат, что стоял на часах у дверей, втолкнул их, одного за другим, внутрь. Усатый спросил, глянув на Длинного:

— Этот?

— Он самый, елки-палки,— сказал Длинный,— вы ж его знаете, он вас за руку цапнул.

Значит, действительно Длинный продал! Ну да, иначе и быть не могло. Ах, подлец, тебе б не ногу — шею сломать!.. Усатый, прищурясь, глядел на Мамата.

— Ну,— произнес он наконец,— что теперь скажешь?

— Не знаю,— сказал Мамат.— Ничего не знаю... и этого,— он кивнул на Длинного,— тоже не знаю...

— Меня не знаешь?— Длинный захохотал. Это усатому почему-то не понравилось. Наверно, сам привык вести разговор.

— Убрать!— крикнул он, указав на Длинного.

Часовой торопливо вошел и потащил за собой Длинного за рубашку. Нога у Длинного, видно, и впрямь не гнулась или вообще не работала. Он споткнулся о порог — и упал на часового, тот тоже повалился, и его винтовка неожиданно выстрелила. От грохота выстрела воронье сорвалось со старой акации, стационарный колокол тоже легонько твякнул, и весь

этот неожиданный концерт окончательно взбесил уса- того офицера.

— Во-он, болваны! — крикнул он неизвестно кому, не то часовому с Длинным, не то воронам с колоко- лом — и тут же заорал на Мамата: — Не знаешь, сучья твоя кровь, никого, ничего не знаешь, а?! Ну, я тебе всыплю горячих, так всыплю, что все узнаешь разом — и маму, и папу, и бабушку! А не то — бабах — и отпра- вишься в свой ад мусульманский! Да, за свое наглое вранье! Сучье отродье!

Тут он вскочил, подбежал к Мамату, мальчик за- жмурился — и кулак ударил его по зубам, так что он еле на ногах устоял, но тут же последовал удар по уху, по другому, и Мамат, чувствуя, что голова раскололась, как дыня, рухнул наземь...

Он лежал на полу, упираясь головой в стену, изо рта и ушей шла кровь. «Юхнов! — орал над ним офицер. — Сюда! В сознание приводи!» — и на Мамата водопадом лилась вода, его снова били, теперь шомполом, кажется, — так, во всяком случае, вопил офицер: «Шомполом его, шомполом!» — но он уже чувствовал боль едва ли вполовину: даже и захоти он — говорить бы не смог. Полуживого, без сознания, его снова бросили в камен- ный склад — маstrapскую тюрьму.

14. САЛИМ-ЧОРВА

Когда Мамат очнулся, кругом было темно. Тело, ка- залось, разбито на тысячу кусков, и каждый болит от- дельно и по-особому, но и все вместе — тоже, и выно- сить это — немыслимо... Мамат пожалел, что очнулся. Постепенно он осознал, что сильнее всего болит правый бок, и если чуть пошевелиться, боль отдается в мозгу. Ребра, что ли, сломаны? Или печень отбита?.. Он по- трогал рукой легонько — сухо вроде, крови нет... или засохла?.. Непонятно почему, но отсутствие крови его успокоило. Где он, Мамат сообразил по уже знакомому мышинному запаху. Сколько ж я лежу так, подумал он, час, два, сутки?.. Нет, вряд ли сутки, есть бы захоте- лось. При мысли о еде его затошнило. Он замер, поле- жал так — отошло. Тут он вспомнил бая-бобо: инте- ресно, здесь он еще? Или маstrapы увели?.. Почему он вчера с ним не заговорил? Ах да, не успел просто...

а то можно б его жареной пшеницей угостить... пшеницей...

Мамат почувствовал, что мысли у него путаются, и усилием воли расставил их по местам. Пшеница — это вчера... или когда? Ну, до того, как его схватил усатый... Впрочем, в карманах зерна наверняка еще остались...

Тут послышался шорох. Мамат собрал силы и, не смотря на боль, приподнялся. Шорох доносился из давешнего темного угла, за люком. Наконец в столбике слабого света показался человек... Да, это был, конечно, Салим-чорва, но сильно изменившийся. Волосы на голове у него стали совсем редкие — так, белый пушок, зато длинная белая борода отросла; и что-то появилось в облике призрачное, сквозящее: казалось, напряги зрение — и сквозь старика можно будет видеть. Другой он был теперь... другой — но не чужой! И Мамат потянулся к нему всем сердцем.

— Бай-бобо... бай-бобо... слышите? Это я, Мамат...

Салим-бай вздрогнул и замер, как человек, ожидающий, что ему вот-вот что-нибудь свалится на голову. Потом стал напряженно вглядываться в темноту. Он очень похудел, голова подрагивала — это отозвалось в Мамате острой жалостью, хотя ему впору было себя пожалеть сначала. Бай, должно быть, Мамата так и не разглядел; он снял халат, расстелил его и принялся за утреннюю молитву...

Теперь долго ждать, думал Мамат. А времени... кто знает, сколько времени у них осталось? Мамату так о многом надо рассказать!.. И он совершил явный грех, попробовал прервать молитву:

— Бай-бобо, почему вы не ответили? Это же я — Мамат... Мамат! Не обижайтесь на мой уход, не мог я по-другому!

Салим-бай окончил молитву после первой же суры, посмотрел в сторону Мамата и прилег. Мгновение спустя зазвучал его тихий голос:

— Я не обижаюсь. Что бы ты ни делал — для себя делаешь, сынок. А я с рабами всевышнего рассчитался.

Мамат не понял смысла этих слов, только их грустный тон до него дошел. И все же он обрадовался, что Салим-бай наконец-то заговорил.

— Как же вы сюда попали?..

— Собрался в хадж, сынок, а эти беспокойные души сочли меня чьим-то лазутчиком...

— Маstrapы?..

— Кто б они ни были, они только заблудшие грешники, которые желают властвовать. Однако и рожденный под счастливой звездой Або Муслим не стал столпом мира, сынок... А ты что делаешь в здешних местах?

— Шел куда глаза глядят, бай-ота... за своей долей...

— Да-а... голова божьего раба — камень судьбы, так-то. Человек человеку причина, так аллах содеял...

— Меня схватили ни за что, бай-ота!

— Себе хуже делают, сынок! Молись аллаху. Добавь и ты к тысяче имен всевышнего...

Бай старается его, Мамата, утешить, а Мамату самому жалко старика. Господи, какой он стал: дунь — и улетит.

— И вы на них не обижайтесь, бай-ота! Какой вы лазутчик! Подержат — и отпустят! Но ведь, говорят, хадж — дальняя дорога.

— Зато ясная, сынок... Отсюда до Оша — два шага. Потом через перевал Эргаштанга до Яркента, а там — на дорогу Кара-Кульджо... В начале рамазана отправляется караван Аман-ахуна, туда мне и надо поспеть...

— Ох... а вы... у вас ни хлеба, ни сил, как говорится...

— На этом пути, сынок, нет заботы ни о хлебе, ни о жизни. Смерть на путях хаджа — милость божья!

Полноте, думает Мамат, тот ли это Салим-бай, которого он знал еще какой-нибудь месяц назад?.. У того были богатство, двор, семья, дети. Он беспокоился о них, страдал от потерь, старался спасти и сыновей, и достояние... А этот — приготовился к смерти, от всего отрешился! Что ж за последняя беда настигла его, заставила нацепить колпак, нищую торбу и погнала в путь? Или, может, он спянул от несчастий? Нет, не похоже... Речь ровная, говорит хоть страшновато, но спокойно.

— Бай-ота, а дома-то — что? Цело все?.. Алим-ака приезжал? И Халим-ака?

У Салим-бая задрожали плечи. Как это он сказал — «рассчитался с рабами всевышнего»? Нет, не легко, видно, с ними рассчитаться до конца!..

Мамат решил подползти к старику поближе, но боль заставила его вскрикнуть и остаться на месте. Старик этого, казалось, и не заметил.

— Прошу, сынок,— сказал он слабым голосом,— не поминнай при мне имени этого ирода... Я его проклял!

— Бай-ота,— Мамат снова попытался привстать,— ...ой, больно!.. Бай-ота, расскажите, что там, облегчите душу!

Салим-бай приподнялся в своем углу, сел. Помолчал, раскачиваясь

— Раньше...— сказал он наконец тихонько, но голос у него осип. Он откашлялся.— Раньше этот ирод... каждый вечер, бывало, как волк, через хлев пробирается...— Бай говорил почти шепотом. Кто такой «этот ирод» — ясно: Халим-байвачча.— Брата подстерегал. Схватит меня за грудки и орет: «Не найду его сегодня — меня завтра прикончат! Каждый день упрашиваю бека подождать...» Где он?— кричит. Если бы я знал, где тот второй сукин сын... А и знал бы... Я ведь отец обоим... был отцом!

Он остановился, помолчал. Потом продолжал так же, полушепотом:

— Каждый раз, уходя, что-нибудь уносил: «Хоть этим гнев бека смягчу». Одежду, ковер, овец... В последний раз, как он перевернул дом вверх дном — искал, что взять, бедняжка мать после его отъезда упала на пороге и дух испустила. Избавилась от муки да греха... Все на меня одного свалилось... После поминок остался я в пустом разоренном доме. Один, как в могиле. Из-за подлеца сына никто ко мне и глаз не казал. Осенью ночи длинные, сна нету, лежу да мечтаю, чтоб Алим пришел, соскучился по нему — сил нет, а тут подумаю о его брате — и сам себя ненавижу. Не знаю, где был ты во время рамазана, а у нас ночью буран начался, ветром навес унесло, разметало хлеб на току, сено и гузапаю на заднем дворе. А я сижу в доме, словно предчувствую еще что-то. Сижу, молюсь и жду. А чего жду? Надеюсь — Алимджан придет. И знаю: придет — беда будет, а с собой совладать не могу. Лишь бы увидеть, а там — будь что будет. Грех это мой, страшный грех, прости, аллах, недостойного, жалкого раба твоего...

И словно я колдовством каким его вызвал — гляжу, Алимджан из бурана выныривает!.. Я сначала и глазам не поверил — мерещится, думаю. Нет, Алимджан! «Папа!»— кричит так радостно, а я стою, язык во рту замерз. Уж как обнял его — малость оттаял, рассказал ему про мать, про брата... Алимджан только хмыкнул.

Брата, говорит, боитесь! Не бойтесь, не придет он в такой буран! Ты же пришел, говорю. Так то, говорит, я... А и придет — не зверь он, чтобы узнать про мать, да еще и братнину кровь в родном доме пролить... И вообще, говорит, они уже малость присмирели...

И только он это сказал — окно распахивается, и в середину комнаты вместе с битым стеклом ирод этот впрыгивает. Я и увидеть не успел, понять не мог, когда он братишку арканом спутал. В ноги ему упал, молю, прошу, чтоб меня взял вместо брата — куда там! «Всех их, кричит, перережем, всех извергов!» Сынок, плачу, да какой же он изверг, ты же сам беку кровавому служишь, сколько он людей загубил! Брось,— кричу,— этого сифилитика, что сгнил до самого носа, плюнь на его помои да посулы, это ж брат твой, пощади да вернись домой, будем землю пахать! А то — уедем все отсюда, уедем... Не-ет,— бай всхлипнул.— Нет, нет, нет! Изрубил! Изрубил... изрубил...— И старик заплакал, негромко, но отчаянно.

— Бай-ота... бай-ота...— растерянно твердил Мамат, безуспешно пытаясь его успокоить, но и сам чуть не плача от сочувствия, горя (он любил Алима) и боли, корчившей его тело. Горло у него горело, он вдруг понял, что умирает от жажды. Воды вокруг не было. Шурша сеном, он кое-как дополз до плачущего старика, взял его кувшин — но вместо того, чтоб смочить себе губы, приложил мокрую руку ко лбу старика. Лоб у старика был и без того холоден.

Старик понемногу стих и наконец впал в прежнее безучастное молчание. В полдень, когда на решетки окна упали тени, он вроде бы несколько оживился и расстелил молитвенный коврик. Губы его задвигались, но Мамату показалось: они твердят не молитву, а давешний рассказ.

...Мамат лежал и смотрел на него, и ему казалось, он видит, как человек медленно умирает, сам себе назначив срок смерти. И Мамат сам чувствовал леденящий озноб. Но тут опять замок подал голос, потом — задвижка; железная дверь распахнулась, в сырую темноту шагнуло солнце, а за ним уже известный Мамату неуклюжий Юхнов:

— Эй, малый, вставай, подь сюда!

Видя, что Мамат корячится на полу, не в силах встать, он подошел, подхватил мальчика под мышки и потащил к выходу.

На этот раз Мамата притащили в тюрьму чуть не в полночь. Он был вроде туши козленка после улака: окровавленный кусок мяса. Впрочем, время от времени он приходил в себя, только глаз открыть не мог. Одно было хорошо: бить перестали. Но боль не проходила, напротив: малость отступив, она снова набрала силу, все тело горело, саднило, ныло. Очнувшись в очередной раз, он заплакал от муки и унижения. Потом снова потерял сознание, а может, в сон провалился: потух, как угли в очаге. Но боль опять его разбудила, и он начал бредить. Ему казалось, он тонет в воде, сам же внутри горит и никак не может потушить этот огонь. «Вода... вода... вода...» — твердил он в бреду — и очнулся от звука собственного голоса. Перед ним, в белом, как марля, столбе утреннего света из люка, сидел Салим-бай.

— Бай... бобо... — простонал Мамат, и Салим-бай тотчас наклонился, кончиком мокрого платка вытер ему пересохшие губы. Старик, видно, тоже слаб до крайности, руки у него дрожали. Похоже, о нем из-за Мамата вообще забыли. Что им старик, когда речь идет о золоте!.. Может, благодаря Мамату бедняга бай через день-другой выберется живым из этой каменной могилы?.. Чувство вины перед ним, вновь возникшее в Мамате, странным образом соединялось с физической болью: казалось, прости его Салим-бай — и меньше будут одолевать раны, ссадины, ушибы... Мысли в Мамате, как мыльные пузыри, рождались и тотчас летели куда-то, наливаясь радужным блеском, а потом исчезали в невидимом пространстве. Но одна показалась ему плотной, осязаемой, важной, и он постарался остановить ее, задержать:

— Бай... бобо... — снова простонал Мамат, мучительно справляясь с непослушными губами, — ...если меня опять поведут... я уж не выживу... они не знают еще — я... знаю... А тайна... тайна тогда... со мной умрет... Скажу вам, бай-бобо... повинюсь... Бог справедлив... вас навстречу... навстречу мне послал... велел мне грех... грех смыть...

Мамат уставал мгновенно, проваливался в пустоту, обливался потом, так что от него пар шел.

— Помните... у вас ящичек... ящичек нашли? Со-кровища... золото... камешки... У меня он... Я взял.

Даже в своем полусознательном состоянии Мамат понимал, что должно последовать за этими словами: удивление, негодование, отвращение... и готовился это перетерпеть, пережить. Но Салим-бай, казалось, никак не отозвался, взгляд у него оставался такой же потухший.

— Бай... бобо... Слышали? Я говорю... ваше золото у меня...

Старик и теперь ответил не сразу:

— Богатство мира — миру остается, сынок... Рабы божьи уносят с собой только грехи свои...

Какая-то в Мамате волна протеста поднялась против этих слов — даже сил вроде прибавилось. Если старик так равнодушен, что ж, выходит... выходит, зря он все претерпел ради проклятого ящичка? Нет, неправда... и, наверно, не в том мысль старика... Грехи? А какой за ним грех?.. Разве он себе... себе хотел взять проклятую шкатулку?.. И Мамат, обливаясь потом, то и дело проваливаясь в глухую темноту и снова выныривая, стал рассказывать Салим-баю всю историю своих тяжелых приключений с сокровищами, начиная с той ночи на чердаке «людской». Он рассказывал мучительно долго, в умоляющем тоне, а старик слушал молча, по виду безучастно.

— Бай-бобо... знаете же — никого... никого у меня нет... только триста сирот в Симе... да вы... Ящичек я туда нес... чтоб поели досыта... не вышло...

И тут только Салим-бай разомкнул губы:

— Ты не мне, сынок, говори... бог всему свидетель...

И он, впервые, может быть, за все время в тюрьме, пристально взгляделся в Мамата. Мальчик, весь в холодном поту, такой вымученный, что даже рябины на его лице казались зелеными, едва дышал: вдохи и выдохи у него были короткие, как взмах крыльев мотылька. Старик коснулся его лба — ледяной лоб!.. Но Мамат, отчаянным усилием то и дело выбираясь из обморока, еще продолжал говорить:

— Бай-бобо... прошу у вас прощенья... Вы один здесь... Они там... отдохнули уже... придут сейчас... я уж не вернусь... Слышите?.. Так запомните... за большой курганчой... пустырь... там еще... три чинара... больших... и мазар на том пустыре... просевший... двадцать два шага от самого... самого высокого чинара... под хворостом... хурджун... прямо в мазаре... там и ваш труд... и мои муки... пусть не останется... без пользы...

Он договорил, что хотел, и снова провалился в забытьё, и в тот же миг, словно нарочно дождавшись конца этой сцены, запор лязгнул, распахнулась дверь и вошел знакомый неуклюжий солдат с напарником. Они взяли потерявшего сознание Мамата под мышки и поволокли наружу. На старика они, как обычно, и не поглядели; только уже у самой двери неуклюжий оглянулся. Должно быть, дошло, что старик находится не на обычном своем месте, в углу...

А Салим-бай глядел им вслед, и померещилось ему, что в дверях Мамат вдруг ожил, выпрямился, сделался выше волочащих его конвоиров... наверно, глаза, отвыкшие от света, заслезились, обманули — откуда у мальчика силы? Умирает ведь... И чтобы так прямо, упрямо пойти навстречу смерти!.. Он, Салим-бай, к своей смерти и сам приготовился, согласился с нею, постарался отрешиться ото всей земной суеты, забот и желаний... и все же внутри себя таил страх; лишь бы не умереть в этой каменной тюрьме, говорил он себе. А потом? Будет новое «лишь бы»?..

Снаружи донесся треск винтовочных выстрелов; старик вздрогнул: неужели это — мальчика?.. Но стрельба не смолкла, слышно было, как, зверски лязгая, сталкиваются вагоны, где-то совсем близко ударил одиночный выстрел. На станции застучали копыта. Испуганные крысы зашуршали за ящиками, порохом запахло.. Салим-бай стал молиться. Такого страшного шума не бывало, и когда басмачи нападали на кишлак!.. Мысли у него смешались. Наваждение!.. А если — и впрямь наваждение?.. Если и Мамат ему прирешился?..

Послышался топот многих сапог, дверь тюрьмы дернули, ударили чем-то тяжелым. Может, прикладом.

— На замке! — крикнул один голос.

— Ломай! — отвечал другой.

Дверь долго не поддавалась, наконец замок не выдержал, в проем хлынуло солнце, вошел, подслеповато, со света, озираясь, человек с винтовкой и начал пинать ящики, те с грохотом летели на пол. В пронизанных лучами тучах поднявшейся пыли замелькали людские фигуры. Салим-бая, замершего в углу, вошедшие даже не заметили — и стали один за другим выходить из склада. Это были не солдаты, хотя и с винтовками. Вдруг последний вышедший обернулся — может, взгляд почувствовал — и увидел бая. «Эй, вы кто?» — сказал он.

Салим-бай не ответил. Человек подошел к нему, взял под мышки и вывел наружу: «Идите домой, бабай... домой!» — и побежал вслед за своими.

Салим-бай, прислонясь к стене, остался стоять, ослепленный этим светлым, солнечным миром. Болели глаза, веки. Никто не спросил его, ввергая во тьму, никто не спросил, выводя на свет, — чего он сам желает?.. Но ведь и вся доля человеческая такова, ни на что нет нашей воли: ни на жизнь, ни на смерть... Тут он вспомнил о Мамате — и в груди неожиданно стало жарко и больно. Он пошел, держась за стену, — куда-то ведь надо идти. Хотя почему куда-то?.. Одно важное дело у него есть: мальчика отыскать. Кто были те, первые люди, что его заперли? Кто были другие, что его освободили?.. Неважно. Грешники. И те, и другие. Но мальчик... О, мальчик! Он претерпел. Воистину — искупил грехи. И только ли свои! Ведь не ради себя!.. Бай вспомнил его долгий, мучительный рассказ — и понял, что сохранил этот рассказ в себе до последнего словца и вздоха... Вот, значит, как бывает в жизни. А казалось, хадж — самое важное, самое главное... Но Мамат совершал с в о й хадж — в Сим, к сиротам, которым нес пропитание. Не урок ли это для него, Салим-бая, заодно со всеми грехами своими отрешившегося от мирской суеты?..

Он дошел до угла — стена поворачивала. За поворотом часть ее обрушилась. На груде кирпичей, на солнце, лежал мальчик. Бай мгновенно узнал его — даже не глазами сперва, а остановившимся, захолоднувшим сердцем. Подбежав — откуда сила в ногах взялась! — он увидел: мальчик мертв. Несомненно, безвозвратно, непоправимо мертв. О том говорила и немислимая для живого поза, и опустевшее, навсегда застывшее лицо. Перед смертью у него шла горлом кровь. Баю показалось: и у него сейчас хлынет кровь — рвавшая, распиравшая сердце. Он упал рядом с мальчиком. Ничего не было сейчас на свете дороже этого чуть не уклюжего, вытянутого, исковерканного пытками и смертью мальчишеского тела. И это уходит, и это!.. Бай приподнялся, погладил лицо Мамата. Нет, не совсем оно опустело; оно было тихое, отдыхающее от мук, и казалось — вот-вот появится на нем застенчивая улыбка: «Ну, довольны мной, бай-ота?»...

Подбежали люди с винтовками, попробовали поставить Салим-бая на ноги, но он снова упал на колени,

подполз к Маматкулу, дрожащими руками погладил и закрыл ему веки.

— Это что, бабай,— ваш сын?..

Раза три повторили, прежде чем он услышал. Он попытался приподнять голову Мамата, положить к себе на колени — не получилось, и он заплакал.

— Сы-ын...— сказал Салим-бай.— Подпасок... пастушок...

Подошел человек в бурке — ему что-то стали объяснять вполголоса. Он внимательно посмотрел на старика, на мальчика.

— Что ж...— сказал он.— Похороните и овчара в братской могиле!

Люди с винтовками поспешно, хотя и уважительно оттеснили старика, легко подняли мальчика, завернули в белое полотнище — откуда оно появилось, Салим-бай не заметил. Он стал читать зауспокойную молитву, и люди с винтовками ждали, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Потом взяли тело и понесли. Салим-бай побрел следом.

Перед обгорелым, разоренным зданием вокзала уже стояли другие люди с винтовками — целый отряд. Шесть покойников в саванах, за ними — и мальчика пронесли куда-то вперед. Люди подняли винтовки — залп грянул. В небо стреляют, думал старик; но разве небо убило этих мертвых?.. Люди убили... В них и надо стрелять!— сказал он себе — и сам удивился. Мгновение, а может, час спустя Салим-бай стоял у большого, свеженасыпанного могильного холма. «Значит, это и есть братская могила», — вспомнил он. Люди расходились. «Маматкул... сынок...»

Подошел молодой парень с винтовкой наперевес, спросил осторожно:

— Не нужна помощь, ота?.. Ну, посидите немного, молитву вознесите... Только Кыбла¹ теперь в той стороне!— Он едва заметно усмехнулся, показал рукой туда, куда уже склонялось солнце, закинул винтовку за плечо — и убежал. «Кыбла...— думал старик.— Моя Кааба — в той стороне, куда держал путь мальчик... Ах, Мамат, Мамат! Маматкул...»

На рассвете воздух прохладен, пыль пририта росой.

¹ Кыбла — направление в сторону Каабы, главной мусульманской святыни в Мекке. В сторону Кыблы должен обращаться молящийся.

В руинах станции, пустовавшей несколько недель, снова оживление, появились спешащие люди, вороны на голых тополиных ветках орут ожесточенно. Люди большей частью, кажется, вооружены... нет, вот и другие, с лопатами, вдоль путей. Да здесь, наверно, весь город собрался — сгребают зерно, убирают и уносят на носилках кирпичи и глину. Пути уже свободны — вот и состав подают. На одних платформах пушки, переговаривающиеся военные; на других — скот...

Люди, все как один, оглядываются на старика с хурджином, в шапке паломника, в драном халате, старых чарыках:

— Эй, гляди... Бобо, в хадж собрались?

— Ха, самое время!

— А что — рамазан кончается, теперь они, как журавли, потянутся на Кашгар!

— Хоть крови проливать не будет, не то что мы с тобой...

— Ну, уж он пожил на белом свете, отвоевался...

— Да, а нам еще воевать за свою долю!

— Повоюем...

С Салим-баем поравнялся человек, ведший коня в поводу:

— Салам алейкум!

Да это вчерашний парень с кладбища.

— Вааaleyкум ассалом...

— Куда путь держите, бобо? На поезд хотите?..

— Да, сынок... До Сима довезет?

— Довезе-ет! Вон туда садитесь! — И он показал на красный вагон с распахнутой широкой дверью посередине; вагон уже был полон людьми. — Хурджун отряхните, ота... Так, на кладбище, и ночевали?.. — И он поспешил дальше.

С золотом своим за плечами, Салим-бай оглядел округу потускневшим взором. Длинно погудел паровоз, и сникший дух Салим-бая словно встрепенулся, как боевой конь, услышавший звук трубы. Он уцепился за скобу двери и полез в вагон. Несколько рук его подхватили.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

...Теперь я вспоминаю: досыта в приюте мы стали есть, когда появился у нас заведующий хозяйством Салим Ахмедов. Помню мешки белой муки и сахара, до-

ставленные из «Торгсина», фабричное печенье с рисунком, которое я тогда попробовал впервые. Но к хорошему привыкаешь быстро, и мы скоро перестали вспоминать о первых днях сытости. И Ахмедова — нашего «Ахмедова-ака» — мы не очень-то связывали с обновлением нашего рациона. Он был нам дорог другим — своей заботой о нас и нашей к нему любовью.

Меня он даже отличал несколько — уж очень внимательным я был слушателем его рассказов и разговоров, а может, открытее других откликнулся на ласку. И не знаю, как другие, а я чуть не с самого начала почувал что-то затаенно-печальное — горькое или горестное, что стояло за его словами, взглядами, жестами. Что-то угнетало его, давило — какая-то невидимая тяжесть иной раз явственно пригибала его плечи к земле. Порой же он просто от нас отдалялся, стараясь остаться в одиночестве, — и удивительно: это чувствовали и самые толстокожие из ребят, которых, бывало, ничем иным не проймешь; чувствовали — и в такие минуты, часы, дни старались ему не навязываться. Но стоило Ахмедову-ака чуть прийти в себя — и он снова оказывался окружен нашей толпой и в разговорах с нами, кажется, обретал настоящий покой. Может быть, в минуты одиночества он взвешивал свое прошлое на весах совести?.. Во всяком случае, возвращаясь к общению с нами, он пересказывал разные события своей жизни — и посреди рассказа иногда останавливался, словно задумавшись над собственным воспоминанием; должно быть, он рассказывал свою жизнь не только нам, но и себе самому. А однажды принялся за «главную историю» — так он сам выразился; это была длинная, растянувшаяся на несколько вечеров повесть оключениях Мамата...

Кончив рассказывать о Мамате, он вновь — ненадолго — замкнулся в себе; мы к нему не приставали, но между собой обсуждали Маматово путешествие и трагическую судьбу весьма оживленно — и даже спорили о подробностях: так ли рассказывал Ахмедов-ака, или иначе... Но скоро он к нам сам присоединился.

— Я, знаете ли, ребята, тоже не всегда богатым был, — говорил он, — а в детстве пас овец, как Мамат. Нас у отца — пятеро, так он всех сыновей в подпаски определил: дескать, не будешь сам за овцами ходить — век не разбогатеешь! Стадо-то, правда, прибавлялось — да отец прикупал понемногу. Старшие братья,

как подросли, к бузе приучились, лентяйничать стали, по юртам все сидеть... за овцами я один ходил! Ну, братья и впрямь не разбогатели, а вот я, видишь, Салим-баем заделался... Но не о том я хотел. Про другое. Однажды ночью на пастбище вдруг сильная буря поднялась — стога сена да шалаши в воздух подняло, унесло, а потом такой ливень хлынул — точь-в-точь море на нас опрокинулось! Ну, овца-то — она дура, побежала от ливня, как от палки, — овца за овцой, отара за отарой — куда глаза глядят... С ними так: непустишь коня да не повернешь голову отары — пиши пропало, хоть в преисподнюю пойдут!.. Братьев мне искать некогда было, вскочил на коня неоседланного — и пошел! Конь подо мной тоже беспокоится, грозы боится, темнота — хоть глаз выколи, разве что молния иной раз сверкнет. Но огрел я буланого плетью — стрелой полетел. А дождь меня самого хлещет плетками, пастбищу — конца-краю нет, и темноте — тоже, и тут вдруг так сверкнуло, так засветилось... И при этом-то свете увидел я перед собой обрыв бездонный, прямо у ног коня — пропасть! Я за гриву цеплялся, а тут как дернул изо всех сил! Но конь и сам пропасть увидел, заржал дико, встал на дыбы — и как-то исхитрился боком на задних ногах повернуться. Как — и сам не пойму... Только уцелели мы с ним, с конем-то, и это молния нас спасла. Убить могла — ан нет, спасла...

Так и смерть Мамата моего, как та молния, над пропастью меня удержала. Он погиб — а меня спас... Он ведь еще ни про время наше толком не понимал, ни про советскую власть; только слышал про вас, голодных сирот, и загорелся в нем огонь благой — помочь людям, спасти, накормить... Нес сокровище, голодный, холодный, а нес, ни малостью не воспользовался. Вот какой пример нам всем! И мне первому. Я ведь старого времени человек был, всю жизнь положил, чтоб богатство скопить, мне просто так отдать его кому-то — невозможно было, а он хоть и читать не умел, хоть и мало что знал — а время новое нутром, душой, чистой своей детской и бедняцкой душой понял. Понял — и меня научил. Вот какое дело, ребятки... Вот какое дело. Ведь и революция — она как молния над обрывом: осветила — и народ от пропасти спасла, на правый путь повернула. Поняли, а?.. По-оняли, вижу...

1981—1982